Выбор Софи

Автор:
Уильям Стайрон

Выбор Софи

Уильям Стайрон

Эксклюзивная классика (АСТ)

Жемчужина творческого наследия Уильяма Стайрона. Роман, который лег в основу сценария изумительного одноименного фильма с Мерил Стрип в главной роли, удостоенного премии «Оскар».

Какова цена выживания человека в аду нацистских концлагерей? Палачи из Освенцима заставили молодую польку Софи сделать страшный выбор… Прошли годы, Софи давно переселилась в Америку и на первый взгляд вполне счастлива. Но прошлое по-прежнему не дает ей покоя, душит и мешает жить. И однажды это прошлое возвращается…

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Уильям Стайрон

Выбор Софи

Памяти моего отца (1889–1978)

Кто опишет дитя таким, каково оно есть,

Средь созвездий, где предел расстоянья – в его ладони?

Кто слепит детскую смерть из грубого серого хлеба

И вложит в раскрытый доверчиво рот, будто косточку —

в яблоко?

Легко проникнуть в разум убийцы. Только одно… каково

Смерть, во всей полноте,

Смерть, что случится раньше, чем жизнь начнется,

Носить у себя внутри, нежно ее лелея,

Носить в себе – и быть человеком хорошим?

Вот такого не описать мне[1 - Перевод Н. Эристави].

Райнер Мария Рильке. Из Четвертой Дуинской элегии

…я отыскиваю ту важнейшую область

Души, где чувству братства противостоит

Абсолютное Зло.

Андре Мальро. Лазарь, 1974

Первое

В те дни на Манхэттене было почти невозможно найти дешевую квартиру, так что мне пришлось перебираться в Бруклин. Шел 1947 год, и одной из приятных особенностей того лета, которое я так живо помню, была погода, солнечная и мягкая, в воздухе пахло цветами, словно бег дней остановился на вечной весне. Я был благодарен судьбе уже и за это, поскольку молодость моя, как я считал, влачила наижалчайшее существование. Мне было двадцать два года, и, стремясь выбиться в писатели, я обнаружил, что творческий жар, который в

восемнадцать лет поистине сжигал меня чудесным неугасимым пламенем, превратился в тусклый контрольный огонек, чисто символически светившийся в моей груди или там, где некогда гнездились мои самые неутолимые чаяния. И не то чтобы мне больше не хотелось писать – я по-прежнему страстно жаждал создать роман, который так долго томился в каземате моего мозга. Одно плохо: едва написав несколько отличных абзацев, я уже ничего больше не мог из себя выжать, или же – следуя образному выражению Гертруды Стайн[2 - Стайн, Гертруда (1874–1946) – американская писательница, яркая представительница формально-экспериментального направления в литературе. – Здесь и далее примечания переводчика.] в адрес одного незадачливого писателя «потерянного поколения» – соки-то во мне были, да только не хотели выливаться. В довершение беды я сидел без работы, почти без денег и, подобно другим моим землякам, сам изгнал себя на Флэтбуш-авеню, пополнив число голодных и одиноких молодых южан, блуждавших в этом еврейском царстве.

Зовите меня Стинго, или Язвина, – в ту пору ко мне обращались именно так. Прозвище это пошло из приготовительной школы, которую я посещал в моем родном штате Виргиния. Эта школа была приятным заведением, куда меня, четырнадцатилетнего мальчишку, зачислил после смерти матери мой сраженный горем отец, обнаружив, что ему со мною не справиться. А я отличался несобранностью и, кроме того, судя по всему, не проявлял внимания к личной гигиене, отчего меня вскоре и прозвали Стинки, иными словами – Вонючкой. Но шли годы. Время делало свое дело, да и привычки мои радикально изменились (собственно, меня до того застыдили, что я стал архичистюлей), так что начала исчезать необходимость в таком режущем слух прозвище и оно превратилось в более приятное или хотя бы менее неприятное – Стинго, или Язвина. После тридцати я каким-то таинственным образом расстался с Язвиной – прозвище это исчезло из моей жизни, словно растворилось в тумане, и я не жалел об утрате. Но в ту пору, о которой я пишу, я все еще был Язвиной. Если читатель, однако, удивится, не найдя этого имени в начале повествования, пусть он учтет, что я описываю тот грустный, одинокий период моей жизни, когда я, подобно свихнувшемуся отшельнику в горной пещере, отгородился от всего мира и ко мне вообще редко кто обращался.

Я был рад, что лишился работы – первой и единственной в моей жизни работы за жалованье, если не считать службы в армии, – хотя ее потеря основательно подорвала мою и без того скромную платежеспособность. К тому же, я думаю, мне полезно было так рано понять, что я никогда и нигде не смогу удовлетворить требованиям, предъявляемым к чиновнику. Учитывая то, как я жаждал получить это место, я, надо сказать, сам удивился чувству облегчения –

и даже радости, – с каким воспринял свое увольнение всего пять месяцев спустя. В 1947 году работу найти было трудно, особенно в издательстве, а мне посчастливилось получить место в одном из крупнейших издательств в качестве «младшего редактора» – эвфемизм, обозначающий человека, читающего рукописи. В ту пору, когда доллар имел большую ценность, чем теперь, условия найма определял хозяин, что и явствует из моего жалованья – сорок долларов в неделю. После вычета налогов вознаграждение за мои труды составляло на худосочно-голубом чеке, который каждую пятницу приносила мне маленькая горбунья-расчетчица, немногим более девяноста центов в час. Меня ничуть не возмущало, что один из самых влиятельных и богатых издателей мира платил своим сотрудникам столь мизерное жалованье: молодой и полный жизненных сил, я смотрел на свою работу – по крайней мере в самом начале – как на нечто возвышенное, а кроме того, в качестве компенсации ждал от нее немало пленительных минут: обеды в ресторане «21», ужины с Джоном О’Харой, встречи с самоуверенными и блестящими, но плотоядными писательницами, которые будут таять от моей редакторской проницательности, и так далее.

Однако вскоре выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Во-первых, хотя издательство – процветавшее главным образом за счет выпуска учебников, промышленных справочников и десятка технических журналов, охватывавших столь разнообразные и таинственные области знания, как свиноводство, или похоронное дело, или штампованные пластмассы, – наряду с этим печатало и романы, и публицистику, для чего и требовались молодые стилисты вроде меня, список его авторов едва ли мог привлечь внимание человека, серьезно интересующегося литературой. Так, например, к моменту моего поступления наиболее известными писателями, которых рекламировало издательство, были отставной адмирал, ветеран Второй мировой войны, и бывший коммунист-осведомитель с чрезвычайно раздутой репутацией, создавший с чьей-то помощью свою mea culpa[3 - Здесь: покаянная исповедь (лат.).] – сочинение, прочно занимавшее место в середине списка бестселлеров. Писателей, чье имя могло бы стоять в одном ряду с Джоном О’Харой, там не было и в помине (поклонялся-то я более прославленным литераторам, но О’Хара, как мне казалось, был писателем того типа, с которым молодой редактор мог пойти в ресторан или напиться). А кроме того, уж больно угнетала меня нудота, которой я занимался. В ту пору «Макгроу-Хилл энд компани» (а я работал именно там) не блистало литературными шедеврами – оно так долго и так успешно занималось выпуском технических трудов, что небольшой отдел художественной литературы, где я трудился и где мы стремились дотянуться до уровня издательств «Скрибнер» или «Кнопф», считался эдаким пустяковым придатком. Совсем как если бы крупные универмаги вроде «Монтгомери Уорд» или

«Мастерс», обнаглев, вздумали открыть у себя салон по продаже изделий из норки и шиншиллы, хотя все знали бы, что это крашеный японский бобер.

Итак, будучи работягой, находившимся на самой низшей ступени служебной лестницы, я не только не допускался к чтению более или менее добротных рукописей, но вынужден был ежедневно продираться сквозь дебри беллетристики и публицистики наискромнейшего качества, листая кипы залитой кофе, замусоленной дешевой бумаги, чей засаленный, потрепанный вид громогласно возвещал о глубине отчаяния автора (или литературного агента) и о том, что издательство «Макгроу-Хилл» – его последняя надежда. Но в моем возрасте, да еще когда моя тупая башка была забита английской литературой, я был столь же непреклонно требователен, как Мэтью Арнолд[4 - Арнолд, Мэтью (1822–1888) – английский поэт, педагог и критик, оказавший большое влияние на Т. С. Элиота.], считая, что письменное слово должно нести лишь предельно серьезные истины, и относился к этим жалким детищам тысяч неизвестных мне людей, в одиночестве вынашивавших свою хрупкую мечту, с высокомерной абстрактной ненавистью, какую питает обезьяна к блохам, вылавливаемым в своей шерсти. Я был непреклонен, категоричен, беспощаден, нетерпим. Сидя в своей стеклянной клетушке на двадцатом этаже здания «Макгроу-Хилл» – архитектурно внушительной, но производящей удручающее впечатление зеленой башне на Сорок седьмой улице Западной стороны Нью-Йорка, – я направлял все свое презрение, какое может возникнуть лишь у человека, только что закончившего чтение «Семи типов двусмысленности»[5 - «Семь типов двусмысленности» – критическая работа английского поэта и литературоведа Уильяма Эмпсона (1906–1984).], на кипы рукописей, уныло громоздившиеся на моем столе и такие невероятно тяжелые от вложенных в них надежд и хромающего синтаксиса. Я должен был дать достаточно подробное описание каждого произведения, независимо от его качества. Сначала я получал от этого истинное удовольствие и от души наслаждался, лихо разнося в пух и прах и умерщвляя рукописи одну за другой. Но через какое-то время их неизменная посредственность стала приедаться, мне надоело однообразие моей работы, надоело курить сигарету за сигаретой, смотреть на подернутый смогом Манхэттен и выдавать бессердечные отзывы вроде вот этого, который я сохранил в памяти о том иссушающем душу, удручающем времени. Привожу его здесь дословно, без всякой редактуры.

«Высоко растет морская трава». Эдмония Краус Бирстиккер. Роман.

Любовь и смерть среди дюн и кустиков клюквы в южном Нью-Джерси. Молодой герой, Уиллард Стрэтэуэй, наследник огромного состояния, нажитого на упаковке клюквы, недавно окончивший Принстонский университет, отчаянно влюбляется в Роману Блейн, дочь Эзры Блейна, закоренелого левака и организатора забастовки среди сборщиков клюквы. Сюжет весьма запутан и остроумно построен; существенную роль в нем играет заговор, устроенный Брэндоном Стрэтэуэем – всемогущим отцом Уилларда – с целью ликвидировать старика Эзру, чей отвратительно изуродованный труп действительно находят однажды утром в клюквоуборочной машине. Это приводит почти к разрыву между Уиллардом – а он «поразительно красиво, по-принстонски держит голову чуть набок и отличается изрядной грациозностью хищника» – и безутешной Рамоной, чье «хрупкое стройное тело не в силах скрыть сладострастную негу, таящуюся внутри».

Я вывожу эти слова с таким ужасом, что могу лишь сказать: худшего романа еще не написали ни женщина, ни зверь. Отклонить с наивозможнейшей быстротой.

Ах, до чего же умный, до чего высокомерный молодой человек! Как же я злорадствовал и хихикал, потроша этих беспомощных, бесправных, полуграмотных ягнят. Не боялся я и легонько ткнуть под ребро «Макгроу-Хилл» с его склонностью публиковать всякую «забавную» дрянь, отрывки из которой печатал за солидный аванс «Ридерс дайджест» (хотя мои издевки, наверное, и способствовали моему падению).

«Женка водопроводчика». Одри Уэйнрайт Смайли. Публицистика.

Единственно, что говорит в пользу данного произведения, – его название, достаточно завлекательное и вульгарное, чтобы заинтересовать «Макгроу-Хилл». Автор – женщина; замужем – на что скромно намекает название книги – за водопроводчиком, с которым она живет в пригороде Вустера, штат Массачусетс. В этих безнадежно унылых – хотя автор и тужится вызвать у читателя смех на каждой странице, – безграмотных вымыслах есть попытка романтизировать, по всей вероятности, жуткое существование путем старательного сравнения комических превратностей своей домашней жизни с

жизнью нейрохирурга. Подобно врачу, пишет автор, водопроводчика могут вызвать и ночью, и днем; как и врач, водопроводчик выполняет сложную работу и постоянно соприкасается с микробами; и от обоих, когда они приходят домой, зачастую плохо пахнет. Уровень юмора наиболее ярко виден в названиях глав – слово «пошлятина», пожалуй, слишком слабо, чтобы обрисовать его: «Тра-та-та, тра-та-та – блондинка в ванночку вошла», «Дренаж нервов» (дренаж – ясно?), «Когда спускают воду», «Набросок в коричневых тонах» и т. д. Рукопись поступила предельно грязная, с загнутыми страницами, побывав – о чем сообщает автор в сопроводительном письме – в издательствах «Харпер», «Саймон энд Шустер», «Кнопф», «Рэндом-хаус», «Морроу», «Холт», «Месснер», «Уильям Слоун», «Райнхарт» и восьми других. В этом же письме автор указывает, что она в полном отчаянии из-за того, что происходит с рукописью, в которой вся ее жизнь, и (я не шучу) далее следует завуалированная угроза покончить с собой. Мне не хотелось бы явиться причиной чьей-то смерти, но данная рукопись никогда не должна быть опубликована – это абсолютный императив. Отклонить! (Почему я должен читать такое дерьмо?)

Я никогда не посмел бы написать последнюю фразу и так непочтительно отзываться о «Макгроу-Хилл», если бы сидевший надо мной старший редактор, который читал все мои заключения, не разделял моего разочарования нашим хозяином и всем, что несла людям его обширная и бездуховная империя. Этот умный, но незадачливый добродушный ирландец с сонными глазами – звали его Фаррелл – проработал немало лет в таких изданиях «Макгроу-Хилл», как «Ежемесячник пенопласта», «Мир протезирования», «Новое о пестицидах» и «Открытые минеральные разработки в Америке», а затем, когда ему стукнуло пятьдесят пять, его перевели в более интеллигентный, менее связанный с промышленностью и, следовательно, более спокойный отдел по выпуску книг, где он сидел в кабинете, посасывая трубку, почитывал Йетса и Джерарда Мэнли Хопкинса[6 - Йетс, Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт и драматург, представитель символизма; вдохновитель культурного движения 90-х годов прошлого века «Ирландское возрождение»; Хопкинс, Джерард Мэнли (1844–1889) – английский поэт.], снисходительным оком просматривал мои заключения и, по-моему, с нетерпением ждал того момента, когда сможет уйти на пенсию и обосноваться в Озон-Парке. Мои подковырки по адресу «Макгроу-Хилл» не только не оскорбляли его, а наоборот, обычно забавляли, как и мои заключения вообще. Фаррелл уже давно стал жертвой бесперспективного сонного застоя, в который, словно в гигантский улей, фирма вгоняла своих даже наиболее честолюбивых сотрудников, и поскольку он понимал, что из десяти тысяч рукописей я едва ли найду одну, которую стоит напечатать, то, видимо,

считал, что не грех мне немного и поразвлечься. Я до сих пор бережно храню одно из моих длинных заключений (если не самое длинное), в значительной степени потому, что это, пожалуй, единственный отзыв, который я написал с чем-то похожим на сострадание.

«Харальд Хаарфагер. Сага». Гундар Фиркин. Поэзия.

Гундар Фиркин – это не псевдоним, а настоящее имя. Имена многих плохих писателей звучат странно или кажутся вымышленными, а потом обнаруживаешь, что они настоящие. Неужели это что-то значит? Рукопись «Харальд Хаарфагер. Сага» не прибыла непрошеной гостьей по почте и не поступила от агента – ее вручил мне сам автор. С неделю назад Фиркин появился в приемной с коробкой, в которой лежала рукопись, и с двумя чемоданами. Мисс Мейерс сказала, что он хочет видеть кого-нибудь из редакторов. Малый лет, я бы сказал, под 60, среднего роста, сутуловатый, но крепкий; изборожденное морщинами, обветренное лицо с густыми седыми бровями, мягким ртом и старыми, бесконечно грустными глазами. На нем была черная кожаная шапка из тех, что носят фермеры, с ушами, которые можно поднять и опустить, и толстая ветронепроницаемая куртка с вязаным шерстяным воротником. Руки у него были огромные, с толстыми красными суставами. Из носа капало. Он сказал, что хотел бы оставить рукопись. Вид у него был весьма усталый, и я спросил, откуда он, а он сказал, что только что – сейчас – прибыл в Нью-Йорк на автобусе, который вез его три дня и четыре ночи из местечка под названием Тертл-Лейк, штат Северная Дакота. «Только чтобы передать рукопись?» – осведомился я, на что он ответил: «Да».

Затем он пустил пробный шар, сообщив мне о том, что «Макгроу-Хилл» – первое издательство, куда он обращается. Это удивило меня, поскольку нашей фирме редко отдают предпочтение даже писатели столь мало осведомленные, как Гундар Фиркин. Я поинтересовался, почему он сделал такой необычный выбор, и он мне ответил, что так решил случай. Он не собирался в первую голову обращаться в «Макгроу-Хилл». Просто его автобус, рассказал он мне, несколько часов простоял в Миннеаполисе – он отыскал там телефонную контору и выяснил, что у них есть экземпляры Желтой телефонной книги Манхэттена. Не желая поступать как дикарь и вырывать страницы, он битый час, а то и больше выписывал карандашом названия и адреса многочисленных книгоиздательств города Нью-Йорка. Он намеревался обойти их в алфавитном порядке, начав, по-

моему, с «Апплтона» и кончая «Цифф-Дэвисом». Но когда утром по прибытии на место вышел из автобусной станции, всего в одном квартале к востоку от нас, и поднял взгляд, то увидел в небе изумрудный монолит старины «Макгроу», увенчанный внушительными буквами «МАКГРОУ-ХИЛЛ». Вот он и притопал к нам.

Старик выглядел настолько измученным и растерянным – как потом выяснилось, он никогда не бывал восточнее Миннеаполиса, – что я решил по крайней мере сводить его вниз в кафетерий и угостить кофе. Пока мы сидели там, он рассказал мне о себе. Он сын норвежских иммигрантов – первоначально фамилия его была «Фиркинг», но потом «г» каким-то образом отскочило – и всю жизнь фермерствовал: растил пшеницу близ этого городка Тертл- Лейк. Двадцать лет тому назад, когда ему было около сорока, компания, занимающаяся добычей ископаемых, обнаружила большие залежи угля под его землей и подписала с ним договор о долговременной аренде участка, так что теперь, хотя залежи до сих пор не разрабатываются, он до конца жизни обеспечен. Человек он неженатый и привык всю жизнь трудиться, поэтому ферму не забросил, но у него появилось свободное время, и он смог взяться за осуществление давно лелеемой мечты. А именно: он решил написать эпическую поэму об одном из своих норвежских предков – Харальде Хаарфагере, который жил в XIII веке и был то ли герцогом, то ли принцем, то ли кем-то еще. Нечего и говорить, что сердце у меня при этой ужасной вести упало и разбилось. Но я продолжал сидеть с бесстрастным лицом, а он, похлопывая рукой по коробке с манускриптом, сказал: «Да, сэр. Двадцать лет труда. Вот они где. Вот».

И тут во мне произошел поворот. Несмотря на свой провинциальный вид, он был неглуп и очень велеречив. По-видимому, он много читал – преимущественно норвежскую мифологию, хотя были у него и любимые писатели, такие как Сигрид Унсет, Кнут Гамсун, а также стопроцентные американские среднезападники вроде Хэмлина Гарленда и Уиллы Кэсер. Словом, подумал я, а что, если я вдруг обнаружу этакого самобытного гения? Ведь даже такой великий поэт, как Уитмен[7 - Унсет, Сигрид (1882–1949) – норвежская писательница, автор ряда известных исторических романов; Гамсун, Кнут (1859–1952) – известный норвежский писатель; Гарленд, Ханнибал Хэмлин (1860–1940) – американский писатель; пропагандировал творчество Л. Н. Толстого; Кэсер, Уилла Сиберт (1876–1947) – известная американская писательница; Уитмен, Уолт (1819–1892) – известный американский поэт.], выглядел нескладным эксцентриком, торговавшим направо и налево своей нелепой рукописью. Так или иначе, после долгой беседы (я уже стал звать его Гундаром) я сказал, что охотно прочту его произведение, хотя должен предупредить, что наше издательство не слишком «сильно» по части

публикации поэзии, после чего мы поехали на лифте ко мне наверх. И тут произошло самое страшное. Прощаясь с ним, я сказал, что понимаю: после двадцати лет работы ему, естественно, хочется поскорее получить ответ, я постараюсь со всем вниманием прочесть рукопись и ответить через несколько дней; в этот момент я заметил, что, собираясь уходить, он взял с собой лишь один чемодан. Я сказал ему об этом, а он улыбнулся, посмотрел на меня своими серьезными, задумчивыми, мечтательными глазами жителя глубинки и сказал: «Я-то думал, вам ясно: в другом чемодане конец моей саги».

Я не шучу – наверное, это самый длинный литературный труд, когда-либо сотворенный рукой человека. Я отнес его в экспедицию и попросил взвесить: 35 фунтов, семь коробок дешевой бумаги по пять фунтов каждая, всего 3850 страниц на машинке. Написана сага на весьма своеобразном английском языке – можно было подумать, что это писал Драйден в качестве сатиры на Спенсера[8 - Драйден, Джон (1631–1700) – английский поэт, драматург, переводчик и критик; Спенсер, Эдмунд (ок. 1552–1599) – один из величайших английских поэтов.], если бы не знать жуткой правды – о том, сколько ночей и дней за эти двадцать лет провел человек в холодной дакотской степи, мечтая о древней Норвегии и лихорадочно строча под вой ветра со Саскачевана, клонящего долу пшеницу:

О ты, великий вождь ХАРАЛЬД, как велико твое горе!

Где бутоньерки те, что она бросала тебе?

А как стареющий холостяк обтачивал четырехтысячную строку под шуршание электрического вентилятора, разгоняющего удушливую жару прерии:

Больше не пойте, о тролли и нибелунги, не пойте

Песен, что ХАРАЛЬД в ее честь сочинил, —

Траурным плачем поля огласите:

О черный грач!

Настала пора умирать – да, настала давно.

О траурный плач!

Губы мои дрожат, глаза застилают слезы, я больше не могу. Гундар Фиркин в отеле «Алгонкин» (где он снял номер по моей безжалостной подсказке) ждет

телефонного звонка, а я слишком трушу и не могу сам позвонить. Решение мое – отклонить с сожалением, даже с великим огорчением.

Возможно, мои требования были слишком высоки или рукописи были уж слишком плохого качества, но, так или иначе, я не помню, чтобы за пять месяцев работы в «Макгроу-Хилл» я рекомендовал хотя бы одно из предложенных моему вниманию произведений. Однако была одна рукопись, которую я отклонил и которая, будучи, насколько мне известно, впоследствии издана, не осталась – по иронии судьбы – безвестной и непрочитанной. С тех пор я не раз представлял себе, как реагировал Фаррелл или кто-либо другой из начальников, когда эта книга вышла в чикагском издательстве через год после того, как я расстался с удручающими горами рукописей в «Макгроу-Хилл». Мое заключение наверняка отложилось в памяти кого-нибудь из высшего эшелона, и столь же наверняка этот старожил, обратившись к архиву, перечел – бог знает с какой смесью недоумения и чувства потери – мой сухой отказ, написанный в самоуверенном, педантичном и отвратительном тоне:

…итак, не без чувства облегчения обнаружил я после стольких тяжких месяцев рукопись, чей стиль не вызывает жара, головной боли и рвоты, и уже за одно это автора следует похвалить. Сюжет – люди, дрейфующие на плоту, – обладает определенными притягательными свойствами. Но большая часть книги посвящена долгому, неспешному и нудному дрейфу в Тихом океане; надо бы резко ее сократить и, по-моему, лучше всего напечатать в каком-нибудь журнале вроде «Нейшнл джиогрэфик». Возможно, ее могло бы взять какое-нибудь университетское издательство, но книга явно не для нас.

Так я разделался с классическим произведением современной приключенческой литературы – «Кон-Тики». Много месяцев спустя, глядя на то, как эта книга – невероятно! – неделю за неделей стоит первой в списке бестселлеров, я попытался объяснить себе свою слепоту тем, что если бы «Макгроу-Хилл» платило мне не девяносто центов в час, а больше, я бы, наверное, лучше чувствовал разницу между хорошей книгой и презренной погоней за деньгой.

Домом моим в ту пору была клетушка размером восемь на пятнадцать футов в здании, именуемом Клуб и резиденция университантов, на Одиннадцатой улице

Западной стороны Гринвич-Виллидж. Когда я приехал в Нью-Йорк, это место привлекло меня не только своим названием – а при упоминании его перед мысленным взором возникала компанейская атмосфера университетов Плющевой лиги[9 - Так называют старейшие и наиболее престижные университеты Новой Англии.], обтянутые сукном столы, заваленные номерами «Нью рипаблик» и «Партизан ревью», почтенные служители во фраках, спешащие передать тебе поручение и выполняющие малейшие твои желания, – но и скромной стоимостью: десять долларов в неделю. Насчет университетов Плющевой лиги – это была, конечно, дурацкая иллюзия. Клуб и резиденция университантов был лишь на одну крошечную ступеньку выше ночлежки, отличаясь от подобного рода заведений на Бауэри лишь тем, что в Резиденции ты имел возможность уединиться, заперев за собою дверь. А почти все остальное, включая цену за постой, очень походило на ночлежку. Как ни парадоксально, дом стоял в замечательном, даже чуть ли не шикарном месте. Из моего единственного, затянутого грязной пленкой окна на четвертом этаже я видел внизу роскошный сад дома на Двенадцатой улице Западной стороны и время от времени тех, кто, думалось мне, был владельцем сада: моложавого мужчину в твиде, который, как мне представлялось, был восходящей литературной звездой, чьи творения печатались в «Нью-Йоркере» и в «Харперсе», и его живую, на редкость хорошо сложенную блондинку-жену, которая расхаживала по саду в брючках или в купальном костюме, а порой играла с дурацкой, изысканно подстриженной афганской борзой или лежала в гамаке, и я ласкал ее до изнеможения, беззвучно, размеренно, не спеша направляя в цель стрелы моего желания.

В тот период тяга к сексу – а вернее, его отсутствие – в сочетании с этим нахально-роскошным садом и его обитателями, подчеркивавшими убогость Клуба и резиденции университантов, сделали мою жизнь совсем уже невыносимой, заставляя острее ощущать мою бедность, одиночество и неприкаянность. От постояльцев – исключительно мужчин, по преимуществу среднего возраста или старше, неудачников или побирушек Гринвич-Виллидж, следующим шагом для которых были уже притоны, – при встречах в тесных коридорах с облупленными стенами исходил кислый запах вина и отчаяния. В вестибюле, сумрачно освещенном мутным светом единственной лампочки, вместо внушительного старика привратника дежурили, сменяя друг друга, клерки-рептилии, все с землистой, зеленоватого оттенка кожей, какая бывает у существ, лишенных дневного света; они же служили лифтерами и отчаянно кашляли и поеживались от геморроидальных болей, пока единственный скрипучий лифт бесконечно долго взбирался на четвертый этаж, где в ту весну я из вечера в вечер замуровывался в своей клетушке как не вполне нормальный

анахорет. К такой жизни меня вынуждала необходимость – не только потому, что у меня не было денег на развлечения, но и потому, что, недавно приехав в метрополию, я держался замкнуто – не столько из застенчивости, сколько из гордости, – и не было у меня ни возможности, ни умения заводить друзей. Впервые – а до сего дня я порою долго и бездумно проводил время в дурацких компаниях – я почувствовал муки одиночества, которого не искал. Подобно преступнику, неожиданно оказавшемуся в камере-одиночке, я обнаружил, что живу за счет нерастраченного жира внутренних ресурсов, о существовании которых даже не подозревал. Сидя в майских сумерках в Клубе и резиденции университантов и наблюдая за невиданно огромным тараканом, который полз по моему тому Полного собрания поэзии и прозы Джона Донна[10 - Донн, Джон (1572–1631) – английский поэт, автор элегий, сатир и эпиграмм. Родоначальник так называемой мета- физической школы, внесший в английскую литературу черты барокко.], я вдруг увидел лик одиночества и решил, что это самый безжалостный и самый отвратительный лик.

Итак, на протяжении этих месяцев вечера мои не отличались разнообразием. Выйдя в пять из здания «Макгроу-Хилл», я спускался на Восьмой авеню в метро, ехал (за пятипенсовик) до площади Гринвич-Виллидж, а там шел прямиком в угловую гастрономию и покупал три банки пива «Рейнголд» – ровно столько, сколько позволяли мне совесть и бюджет. Затем я приходил в свою комнатенку, вытягивался на шишковатом матрасе, накрытом простынями, застиранными до прозрачности и пахнущими хлоркой, и читал, пока последняя банка пива не становилась теплой, на что требовалось часа полтора. По счастью, я был в том возрасте, когда чтение еще не приелось и, следовательно, за исключением счастливого брака, является наилучшей возможностью бежать от одиночества. Иначе мне бы не пережить эти вечера. Но я был безудержный книгочей и, кроме того, по-чужеземному эклектичный, с такой страстью к писаному слову – почти любому писаному слову, – что оно действовало на меня поистине возбуждающе, почти как если бы я был эротоман. Причем буквально: я знаю, что, не сопоставь я своих переживаний с рассказами некоторых других людей, которые признавались, что испытывали в молодости то же самое, я вызвал бы сейчас презрение или недоверие, утверждая, будто помню, как при одной мысли о возможности полистать полчаса телефонный справочник у меня кровь приливала к низу живота.

Словом, я читал – «У подножия вулкана»[11 - Роман канадского писателя Малколма Лаури (1909–1957).] была одной из книг, которые, насколько помнится, удерживали в тот сезон мое внимание, – а часов в восемь или девять отправлялся ужинать. Ну и ужины это были! Мое нёбо до сих пор отчетливо

ощущает привкус сала после солсберийского бифштекса, который я ел «У Билфорда», или западного омлета, съеденного «У Райкера», как-то вечером я чуть не грохнулся в обморок, обнаружив в нем зеленоватое, почти истлевшее перышко и крошечный клювик эмбриона. Или хрящ, засевший, словно уплотненная опухоль, в бараньей отбивной, которую мне подали в «Афинской котлетной», причем от отбивной воняло старым бараном, а картофельное пюре было клейкое, прогорклое, явно воссозданное хитроумными греками из остатков государственных запасов, выкраденных с какого-нибудь склада. Но о том, как готовят в Нью-Йорке, я не знал, как не знал и многого другого, и я еще не скоро пойму, что, если хочешь потратить на еду не больше доллара, надо идти в «Белую башню» и съесть там пару бутербродов с котлетой и кусок пирога.

Вернувшись к себе в клетушку, я с остервенением хватал книгу и, снова погрузившись в выдуманный мир, читал до рассвета. Порою, правда, я вынужден был «выполнять домашнее задание», как я это с отвращением называл, а именно: писать тексты для суперобложек книг, издаваемых фирмой «Макгроу-Хилл». Собственно, меня ведь и наняли-то после того, как я написал на пробу текст для суперобложки «Исторического небоскреба Крайслер», уже выпущенной «Макгроу-Хилл». Мой лирический и в то же время крепко сбитый текст произвел на Фаррелла такое сильное впечатление, что он не только взял меня на работу, но и ожидал, что я и дальше буду создавать подобные чудеса для будущих книг нашей фирмы. Думается, главным разочарованием для него было то, что я ни разу не смог повторить свой первый опус, ибо попал во власть специфического для «Макгроу-Хилл» синдрома отчаяния и иссушения мозгов, который был неведом Фарреллу и не вполне осознавался мною самим. Не желая признаваться в этом даже себе, я начал ненавидеть шарады, решения которых требовала от меня работа. Я же был не редактор, а писатель – писатель, горевший таким же пылом и умевший взмыть ввысь на крыльях воображения, как Мелвилл, или Флобер, или Толстой, или Фицджеральд, которые способны были вырвать сердце у меня из груди и оставить частицу себе; это они каждый вечер – порознь или все вместе – призывали меня следовать их несравненным путем. Я чувствовал, что деградирую, берясь писать для суперобложек, тем более что книги, которые мне поручали превозносить, были не литературой, а ее антиподом – коммерческими поделками. Вот кусок одного текста, который я так и не сумел закончить:

Романтика производства бумаги неразрывно связана с историей «американской мечты», а имя Кимберли-Кларка неразрывно связано с историей производства

бумаги. Все началось со скромного «однолошадного» предприятия в Нине, сонном висконсинском городке на берегу озера; теперь же корпорация Кимберли-Кларка является одним из гигантов мирового бумажного производства, ее фабрики работают в 13 штатах и 8 иностранных государствах. Заботясь об удовлетворении целого сонма человеческих потребностей, корпорация выпускает множество разнообразной продукции: сами названия ее товаров уже вошли в обиход – наиболее известным, несомненно, является клинекс[12 - Клинекс – бумажный носовой платок.]…

На составление такого абзаца уходили часы. Лучше сказать «несомненно… клинекс» или «бесспорно»? «Сонм» человеческих потребностей или «уйма»? «Масса»? «Прорва»? Создавая подобный текст, я рассеянно мерил шагами свою клетушку, негромко произнося вслух бессмысленные слова, нащупывая ритм прозы и сдерживая отчаянное желание мастурбировать, которое в таких случаях почему-то всегда нападало на меня. Наконец, задыхаясь от ярости, я громко объявлял стенам из прессованной древесной стружки: «Нет! Нет!», затем бросался к пишущей машинке и, озорно хихикая, стремительно отстукивал уничтожающий, но божественно очищающий душу вариант:

Нельзя спокойно смотреть на статистические данные деятельности «Кимберли-Кларк» – они потрясают: подсчитано, что, если выпростать из клинексов все сопли, высморканные в Соединенных Штатах и Канаде за один только зимний месяц, и размазать их по полю Йельского стадиона, получится слой в полтора фута толщиной. Подсчитано, что если выложить в ряд влагалища, обладательницы которых применяли в США «Котекс» в течение только одного периода в четыре дня, линия протянется от Бостона до Уайт-ривер-джанкшен, штат Вермонт.

На другой день Фаррелл, неизменно вежливый и терпеливый, задумчиво посмотрит, скривившись и жуя резинку, на этот дар судьбы и, заметив, что «это не совсем то, что, по-моему, требуется», понимающе усмехнется и попросит меня – пожалуйста, сделайте новую попытку. И поскольку я еще не окончательно погиб, а быть может, потому, что пресвитерианская этика все еще имеет надо мною власть, я вечером попытаюсь написать заново – попытаюсь, мобилизовав весь свой пыл и все свои способности, но тщетно. Попотев не один

час, я сдамся и вернусь к чтению «Медведя», или «Записок из подполья», или «Билли Бадда»[13 - Имеются в виду повесть Уильяма Фолкнера «Медведь», «Записки из подполья» Ф. Достоевского и повесть Германа Мелвилла «Билли Бадд».], а чаще всего просто встану у окна и буду смотреть вниз, на зачарованный сад. Там, в золотистых весенних сумерках Манхэттена, в интеллигентной, ненавязчиво богатой атмосфере, куда, я знал, мне заказан доступ, у Ханникатов, как я их окрестил, начинался вечерний прием. Златокудрая Мэвис Ханникат на секунду появлялась одна в саду – на ней были блузка и узкие цветастые брючки; она останавливалась, задирала носик к опаловому вечернему небу, колдовски встряхивала своими прекрасными волосами и, нагнувшись, принималась рвать с клумбы тюльпаны. Стоя в этой прелестной позе, она и понятия не имела, что она делала с самым одиноким из младших редакторов Нью-Йорка. Мною овладевала невероятная жажда обладания – слепое рыло желания соскальзывало вниз по закопченным стенам жалкого старого дома, перекидываясь через ограду, и поспешно приближалось, извивающееся и непристойное, к ее задранному заду в брючках, цветы на которых неожиданно становились мною, чувствующим свою мужскую силу, алчущим и, однако, все еще владеющим собой. Руки мои нежно обвивались вокруг Мэвис, и ее полные, ничем не стесненные, пахнущие медом груди ложились на мои ладони. «Это ты, Уинстон?» – шептала она. «Нет, это я, – отвечал я, ее возлюбленный, – разреши мне взять тебя вот так, сейчас». На что она всякий раз говорила: «Ах, любимый, конечно… потом».

В этих моих безумных фантазиях мне мешало немедленно слиться с нею на гамаке фирмы «Аберкромби и Фитч» внезапное появление в саду Торнтона Уайлдера. Или Э. Э. Каммингса. Или Кэтрин Энн Портер. Или Джона Херси. Или Малколма Коули. Или Джона Ф. Маркуонда[14 - Уайлдер, Торнтон (1897–1975) – известный американский романист и драматург; Каммингс, Эдуард Эстлин (1894–1963) – известный американский поэт; Портер, Кэтрин Энн (1890–1980) – известная американская писательница, автор романа «Корабль дураков»; Херси, Джон (род. в 1914 г.) – известный американский журналист и романист; Коули, Малколм (род. в 1898 г.) – американский поэт, критик и переводчик; Маркуонд, Джон Филипс (1893–1960) – американский романист.]. После чего, вернувшись к действительности – хоть и терзаясь неосуществленным желанием, – я обнаруживал, что по-прежнему стою у окна и с тоскою в душе наблюдаю за происходящим внизу… Мне казалось идеально логичным, что Ханникатам, этой живой, веселой молодой паре (чья гостиная находилась на уровне сада, что позволяло мне с завистью поглядывать на датские полки, изготовленные современными датскими мастерами и ломившиеся от книг), так невероятно повезло и они жили в мире, населенном писателями, и поэтами, и критиками, и

всякими прочими литераторами; и вот в такие вечера, когда на землю мягко опускались сумерки и терраса заполнялась оживленно болтающими красиво одетыми интеллектуалами, я различал среди теней лица всех немыслимых героев и героинь, о которых мечтал с той минуты, как мой злосчастный дух пленила магия печатного слова. Я еще не встречал ни одного автора опубликованной книги – если не считать того жалкого старика, бывшего коммуниста, о котором я упоминал выше и который однажды случайно забрел ко мне в здание «Макгроу-Хилл», распространяя вокруг запах чеснока и кислого пота укоренившихся дурных предчувствий, – так что той весной вечеринки у Ханникатов, которые устраивались часто и затягивались допоздна, давали повод для самых немыслимых полетов воображения, какие когда-либо совершал мозг идолопоклонника, терзающегося неразделенной любовью. Вон Уоллес Стивенс! И Роберт Лоуэлл[15 - Стивенс, Уоллес (1879–1955) – известный американский поэт; Лоуэлл, Роберт (1917–1977) – известный американский поэт.]! А этот господин с усиками, исподтишка заглядывающий в садик с порога дома. Неужели это действительно Фолкнер[16 - Фолкнер, Уильям (1897–1962) – крупнейший американский писатель, автор романов «Шум и ярость», «Свет в августе» и многих других. Лауреат Нобелевской премии 1949 года.]? Поговаривали, что он в Нью-Йорке. А эта дама с монументальным бюстом, стянутыми в пучок волосами и неизменной усмешкой. Это же Мэри Маккарти[17 - Маккарти, Мэри (род. в 1912 г.) – известная американская писательница и критик.]. А маленький человечек с красным лицом, чуть искаженным ироничной ухмылкой, – это не кто иной, как Джон Чивер[18 - Чивер, Джон (1912–1982) – известный американский романист и автор коротких рассказов.]. Однажды в сумерках звонкий мужской голос крикнул: «Ирвин!» – и когда это имя долетело до моего закопченного насеста, я почувствовал, как сердце у меня пропустило удар. Было действительно слишком темно, да и стоял он ко мне спиной между двумя девушками, которые с обожанием взирали на него, подняв личики, как цветы к солнцу, но неужели этот плечистый крепкий борец мог быть тем, кто написал «Девушек в летних платьях»[19 - Имеется в виду рассказ американского писателя Ирвина Шоу (1913–1984), автора романов «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Нищий, вор» и др.]?

Сейчас-то я понимаю, что все эти гуляки, собиравшиеся по вечерам у Ханникатов, либо промышляли на Уолл-стрит, либо занимались рекламой или каким-то другим пустопорожним делом, но в ту пору я был твердо убежден в своей иллюзии. Как-то вечером, однако, перед самым моим изгнанием из империи «Макгроу-Хилл», в чувствах моих произошла полная перемена, после чего я никогда уже больше не смотрел в сад. В тот раз я занял привычную позицию у окна и устремил взгляд на знакомый задик Мэвис Ханникат,

одновременно подмечая ее ставшие такими милыми моему сердцу телодвижения – как она поправляет блузку, как отбрасывает пальчиком светлый локон, болтая с Карсон Маккалерс и бледным, очень высоким человеком, похожим на англичанина, который близоруко щурился и был явно Олдосом Хаксли[20 - Маккалерс, Карсон (1917–1967) – известная американская писательница, автор романа «Сердце – одинокий охотник» и сборника «Баллада о невеселом кабачке», названного по одному из рассказов, на сюжет которого Э. Олби написал одноименную пьесу. Хаксли, Олдос (1894–1963) – известный английский романист-сатирик, автор многих романов, в том числе «Желтый Кром», «Контрапункт», антиутопии «О дивный новый мир».]. О чем, ради всего святого, они беседовали? О Сартре[21 - Сартр, Жан Поль (1905–1980) – известный французский философ, романист и литературный критик, глава французского экзистенциализма; автор тетралогии «Дороги свободы» и многих пьес, в том числе «Затворники Альтоны».]? О Джойсе[22 - Джойс, Джеймс (1882–1941) – известный ирландский романист, автор «Улисса».]? О коллекционных винах? О летних курортах на юге Испании? О «Бхагавадгите»[23 - «Бхагавадгита» – древнеиндийский трактат, в котором излагаются основы брахманизма и индуизма, входящий в состав «Махабхараты».]? Нет, они явно говорили о том, что их окружало, – о данном месте, – ибо Мэвис, сияя от удовольствия и возбуждения, указывала на увитые плющом стены садика, на миниатюрную зеленую лужайку, журчащий фонтанчик, удивительную клумбу с тюльпанами, сверкавшую в том сумрачном городском чреве яркими фламандскими красками. «Вот если б только… – казалось, говорила она, и лицо ее исказилось досадой. – Вот если б только…» Тут она круто развернулась и в ярости выбросила в сторону Клуба и резиденции университантов маленький кулачок – этот милый разгневанный кулачок был так заметен, она так безобидно им потрясала, что, казалось, он разрезал воздух всего в дюйме от моего носа. У меня было такое чувство, будто меня высветили прожектором, и в приливе застучавшего в висках горя я со всею несомненностью прочел по ее губам: «Вот если б только не торчал тут как бельмо на глазу этот дом, с его недоумками, пялящимися на нас!»

Но моим мучениям на Одиннадцатой улице не суждено было затянуться. Мое самолюбие было бы удовлетворено, если бы я мог считать, что меня уволили из-за истории «Кон-Тики». Но звезда моя в «Макгроу-Хилл» стала клониться к закату с появлением нового главного редактора, которого я втайне прозвал Хорьком, что было почти анаграммой его настоящего имени. Хорька взяли, чтобы придать нашей конторе недостающий лоск. В ту пору его знали в издательском деле главным образом в связи с Томасом Вулфом[24 - Вулф, Томас (1900–1938) – известный американский романист, автор романа «Взгляни на дом свой, Ангел»

и др.]: он стал редактором Вулфа после того, как тот расстался с издательством «Скрибнер и Максуэлл Перкинс», а после смерти писателя помог установить хронологию и привести в порядок его огромное, оставшееся неопубликованным наследие. Хотя оба мы с Хорьком были с Юга – что во враждебном окружении Нью-Йорка чаще всего с первых же шагов цементирует отношения между людьми, – мы тотчас невзлюбили друг друга. Хорек был маленький, лысеющий, неприметный мужчина лет под пятьдесят. Не знаю, что он думал обо мне, хотя не сомневаюсь, что наглый, бесшабашный стиль определил его отношение ко мне; я же считал его холодным, лишенным юмора, ничем не интересующимся, непомерно самовлюбленным, с неприступной манерой держаться, свойственной людям, склонным переоценивать свои достижения. На редакционных совещаниях он любил изрекать: «Вулф говаривал мне…» Или: «Как образно выразился Том в письме, которое написал мне перед самой смертью…»

Он до такой степени отождествлял себя с Вулфом, точно был alter ego[25 - Второе «я» (лат.).] писателя – это-то больше всего и не давало мне покоя, ибо, подобно множеству молодых людей моего поколения, я прошел тернистый путь поклонения Вулфу и отдал бы все, что имел, лишь бы спокойно, по-дружески провести вечер с таким человеком, как Хорек, вытягивая из него все новые рассказы о Мастере, изрекая «Господи, сэр, этому же цены нет!» после очередной чудесной небылицы про обожаемого гения, его причуды, или выходки, или про трехтонную рукопись. Но никакого контакта у нас с Хорьком не получалось. Помимо всего прочего, он был отчаянный формалист и быстро приспособился к чистоплюйской, бесцветной и архиконсервативной атмосфере «Макгроу-Хилл». Во мне же, наоборот, еще во всех смыслах играла кровь, и я не только потешался над редакторской стороной книгоиздания, что мои усталые глаза воспринимали теперь как явно унылую тягомотину, но и над стилем, традициями и артефактами мира бизнеса вообще. Ведь в конечном-то счете издательство «Макгроу-Хилл», несмотря на все старания придать своей деятельности литературный лоск, было чудовищным порождением американского бизнеса. И вот когда у руля встал такой хладнокровный защитник интересов компании, как Хорек, я понял, что беды недолго ждать и дни мои сочтены.

Однажды, вскоре после прихода к власти, Хорек призвал меня к себе в кабинет. У него были продолговатое упитанное лицо и крошечные недобрые, как у хорька, глазки – мне казалось просто невозможным, чтобы такое существо могло завоевать доверие человека, столь чуткого к малейшим оттенкам физического облика, как Томас Вулф. Хорек жестом предложил мне сесть и, с трудом выдавив из себя несколько любезностей, перешел к делу, а именно моему полному, по

его мнению, несоответствию определенным аспектам «профиля» фирмы «Макгроу-Хилл». Я тогда впервые услышал, что это слово употребляется в ином смысле, чем вид лица сбоку, а по мере того, как Хорек говорил, перейдя уже к деталям, я все меньше понимал, чем же я не соответствую, поскольку был уверен, что добрый старикан Фаррелл не мог плохо отозваться обо мне или моей работе. Но оказалось, что мои просчеты связаны с одеждой и – по крайней мере косвенно – с политикой.

– Я заметил, что вы не носите шляпы, – сказал Хорек.

– Шляпы? – повторил я. – Ну, в общем, не ношу. – Я всегда прохладно относился к головным уборам, хотя, по правде говоря, признавал за шляпами право на существование. Но с тех пор как два года тому назад расстался с морской пехотой, я, безусловно, никогда не думал, что носить шляпу обязательно. Имел же я право выбора и потому до той минуты никогда об этом не думал.

– Все в «Макгроу-Хилл» носят шляпу, – сказал Хорек.

– Все? – переспросил я.

– Все, – отрезал он.

Ну и, поразмыслив о его словах, я, конечно, понял, что это так: все действительно носили шляпы. Утром, вечером и в обеденное время в лифтах и холлах волновалось море соломенных и фетровых шляп, сидящих на одинаково причесанных, коротко подстриженных головах тысячной армии выкормышей «Макгроу-Хилл». Во всяком случае, так обстояло дело с мужчинами, а для женщин – в большинстве секретарш – это, видимо, было не обязательно. Словом, Хорек был, безусловно, прав. Дотоле я этого не замечал – и лишь в тот момент узрел, что ношение шляпы было не данью моде, а непременной частью принятого в «Макгроу-Хилл» обмундирования, как и рубашки «Эрроу» на пуговицах и пригнанные по фигуре фланелевые костюмы фирмы «Вебер энд Хэйлбронер», которые носили в зеленой башне все, начиная с продавца учебных пособий и кончая вечно озабоченными редакторами журнала «Как распоряжаться крупными отбросами». В своем неведении я не сознавал, что был одет не по форме, но даже и сейчас, уловив это обстоятельство, я почувствовал возмущение и одновременно приступ веселости и не знал, что отвечать на суровое обвинение Хорька. Внезапно я услышал собственный голос,

спрашивавший Хорька столь же мрачным тоном, каким он говорил со мной:

– Могу я узнать, чем еще я не отвечаю профилю данного учреждения?

– Я не могу диктовать вам, какие газеты читать, да и не хочу этого делать, – сказал он, – но служащему такого издательства, как «Макгроу-Хилл», не следовало бы афишировать свое пристрастие к «Нью-Йорк пост». – Он помолчал. – Это так – совет для вашего же блага. Нечего и говорить, вы можете читать что угодно в свободное время и не на работе. Просто как-то… не пристало редактору «Макгроу-Хилл» читать в издательстве радикальные газеты.

– А что же я должен читать? – У меня вошло в привычку в обеденное время отправляться на Сорок вторую улицу и покупать там дневной выпуск «Пост» и сандвич, а затем поглощать и то и другое в моем кабинете во время положенного перерыва. Это было единственное время, когда я в течение дня читал газету. В ту пору я был не столько политически наивен, сколько политически нейтрален – что-то вроде кастрата – и читал «Пост» не потому, что там печатались либеральные редакционные статьи или обзоры Макса Лернера – и те и другие казались мне ужасно скучными, – а потому, что газета отличалась живостью стиля, как и положено журналистике большого города, и там появлялись увлекательные сообщения из жизни высшего света, в частности принадлежащие перу Леонардо Лайонса. Тем не менее, отвечая Хорьку, я уже знал, что не откажусь от этой газеты и не пойду к «Уэйнамейкеру», чтобы обзавестись мягкой шляпой с плоской тульей и загнутыми кверху полями. – Мне нравится «Пост», – добавил я с легкой ноткой раздражения. – А что, по-вашему, я должен вместо нее читать?

– «Геральд трибюн» была бы более подходящей, – сказал он, по-теннессийски растягивая слова, но, как ни странно, без всякого тепла в голосе. – Или даже «Ньюс».

– Но они же выходят утром.

– Тогда, может быть, «Уорлд телеграм». Или «Джорнел америкен». Лучше читать сенсационную прессу, чем радикальную.

Даже я знал, что «Пост» едва ли можно было назвать радикальной газетой, и я уже хотел было так и сказать, но сдержался. Бедный Хорек! Человек он,

конечно, холодный, но мне стало немного жаль его: я вдруг понял, что узда, которую он пытается на меня надеть, не им придумана, ибо что-то в его манере (может быть, чуть извиняющаяся интонация, когда один южанин нерешительно дает понять другому, что задним числом сочувствует ему?) подсказывало мне, что он против воли требует от меня соблюдения этих идиотских и мерзких правил. Я увидел также, что возраст и положение делали его настоящим узником «Макгроу-Хилл», безоговорочно обязанным подчиняться атмосфере крючкотворства, мелочных придирок и заботы лишь о презренном металле, человеком, который уже не может повернуться и хлопнуть дверью, тогда как передо мной по крайней мере был открыт весь мир. Помнится, когда он изрек свой жалкий вердикт: «Лучше читать сенсационную прессу, чем радикальную», я, ликуя, произнес про себя: «Прощай, Хорек! Прощай, «Макгроу-Хилл»!»

Я все еще горячо сожалею, что у меня не хватило мужества уйти сразу. Вместо этого я устроил забастовку из проволочек – точнее было бы сказать, просто перестал работать. В последующие дни, хотя я вовремя являлся на работу и уходил ровно в пять с последним ударом часов, на моем столе выросла целая гора непрочитанных рукописей. В полдень я больше не листал «Пост», а отправлялся к киоску близ Таймс-сквер и покупал «Дейли уоркер», которую без всякой бравады – вернее, спокойно и без интереса – читал или пытался читать, сидя, по обыкновению, за своим столом, жуя сандвич с копченым мясом и кошерным маринованным огурцом и наслаждаясь каждым мгновением, в течение которого я разыгрывал в этой крепости белых англосаксов двойную роль воображаемого коммуниста и фиктивного еврея. Я, наверное, слегка свихнулся, явившись на службу в мой последний рабочий день в старом, выцветшем «ночном горшке», какие носит морская пехота (в такой шапчонке Джон Уэйн снимался в «Песках Иводзимы»), и в костюме из легкой ткани в полоску; и уж я позаботился о том, чтобы Хорек заметил меня в этом нелепом одеянии, и так все подстроил, чтобы он в тот же день застукал меня, когда я на прощание совершал диссидентскую акцию…

Одной из услад моего пребывания в «Макгроу-Хилл» была величественная панорама Манхэттена, открывавшаяся с моего двадцатого этажа, перспектива – эти монолиты, минареты и шпили неизменно возрождали мои притупленные чувства банальным, однако искренним восторгом и сладостными надеждами, исстари свойственными американскому провинциальному парню. Буйные ветры со свистом летели мимо парапетов у окон «Макгроу-Хилл», и одним из моих любимых времяпрепровождений было бросить в окно лист бумаги и следить за его стремительным падением – как он проносится над крышами и затем нередко исчезает в глубоких каньонах вокруг Таймс-сквер, то падая камнем, то вдруг

взмывая вверх. В тот день мне пришло в голову купить вместе с «Дейли уоркер» тюбик пенящейся массы – теперь дети пользуются ею вовсю, а тогда это было новшеством, – и, вернувшись к себе в кабинет, я выдул с полдюжины хрупких, прелестных переливчатых шариков, предвкушая с жадным нетерпением человека, долго отказывавшего себе в плотских утехах и подошедшего к концу своего искуса, как они полетят по ветру. Я выпустил их один за другим в туманную глубину пропасти, и они превзошли все мои ожидания, осуществив тайную детскую мечту надуть шарик и послать на край света. Мои шарики сверкали в послеполуденном солнце, как спутники Юпитера, и своими размерами походили на баскетбольные мячи. По прихоти воздушного течения их подбрасывало вверх над Восьмой авеню, и они, казалось, бесконечно долго висели над ней, так что у меня захватило дух от восторга. Затем я услышал взвизги и девичий смех и увидел, что из окон соседних кабинетов свешиваются секретарши «Макгроу-Хилл», привлеченные зрелищем. Очевидно, поднятый ими шум и побудил Хорька обратить внимание на мою затею, ибо в тот момент, когда девушки в последний раз крикнули «ура», приветствуя шарики, и те опрометью полетели на восток, вдоль пестрой Сорок второй улицы, я услышал позади себя голос Хорька.

Я подумал, что он отлично умеет сдерживать свою ярость.

– С сегодняшнего дня вы больше здесь не работаете, – глухо произнес он. – В пять часов можете получить чек с расчетом.

«С твоим расчетом, Хорек, потому что ты увольняешь человека, чье имя будет греметь не меньше имени Томаса Вулфа». Я, конечно, так не сказал, но эта фраза была у меня на языке, и мне по сей день кажется, будто я ее произнес. По-моему, я просто ничего не сказал – только смотрел на этого человечка, а он повернулся на своих ножках и просеменил вон из комнаты и из моей жизни. И меня затопило странное чувство избавления – чувство, схожее с физическим облегчением, какое испытываешь, сбросив лишнюю теплую одежду. А вернее, такое, точно я долгое время находился глубоко под водой и вдруг сумел выплыть и с восторгом заглатываю свежий воздух.

– Легко отделался, – сказал мне потом Фаррелл, невольно повторяя пришедшую мне на ум метафору. – Не один человек там потонул. И даже трупов никогда не находят.

Время приближалось к шести. Я задержался в тот день, чтобы собрать свои вещички, сказать «до свидания» двум-трем редакторам, с которыми у меня установились довольно милые отношения, получить последние 36 долларов 50 центов и, наконец, проститься с Фарреллом, что оказалось на редкость мучительным и грустным, ибо, помимо всего прочего, выяснилось то, о чем я уже давно мог бы догадаться, если бы меня это действительно интересовало или если бы я был понаблюдательнее, – что это был одинокий и горький пьяница. Он, слегка пошатываясь, вошел в мой кабинетик, как раз когда я засовывал в портфель вторые экземпляры некоторых из моих наиболее тщательно написанных рецензий. Я вынул их из подшивок, с грустью и нежностью посмотрел на опус по поводу Гундара Фиркина и особенно бережно уложил умозаключения насчет «Кон-Тики», ибо у меня почему-то возникло предположение, что в один прекрасный день их можно будет использовать как весьма любопытные литературные заметки на полях.

– Даже трупов никогда не находят, – повторил Фаррелл. – Глотните немножко.

Он протянул мне стакан и початую бутылку «Старой хлебной водки». Дыхание Фаррелла сильно отдавало водкой – собственно, от него пахло ржаным хлебом грубого помола. Я отклонил предложение не потому, что был трезвенником, а потому, что в ту пору поглощал лишь дешевое американское пиво.

– Ну, вы для этого места вообще не созданы, – продолжал он, отхлебнув «Старой водки». – Это место не для вас.

– Я это и сам начал понимать, – поддакнул я.

– Через пять лет вы стали бы законопослушным чиновником. Через десять лет – ископаемым. Закоснелым старым пердуном в тридцать лет. Вот во что превратил бы вас «Макгроу-Хилл».

– М-да, я в общем-то даже рад, что ухожу, – сказал я. – Хотя отсутствие жалованья я почувствую. При том что это заведение едва ли можно назвать «золотым дном».

Фаррелл хмыкнул и негромко, деликатно рыгнул. Лицо у него было такое типично ирландское, вытянутое, с длинной верхней губой – живая карикатура на ирландца; самый облик его навевал грустные мысли – такой он был весь

потрепанный, измученный, примирившийся со своей участью, что я не без боли подумал о том, как он сидит дотемна в своем служебном кабинете наедине с бутылкой, Йетсом и Хопкинсом, а потом безрадостно едет на метро в Озон-Парк. Внезапно я понял, что больше никогда его не увижу.

– Значит, хотите писать, – сказал он, – хотите стать писателем. Прекрасная цель в жизни – я когда-то сам об этом мечтал. Молюсь и надеюсь, что из вас выйдет писатель и вы пришлете мне свою первую книгу. Куда же вы отправляетесь писать?

– Не знаю еще, – сказал я. – Знаю только, что больше жить на этой помойке, где я сейчас живу, не могу. Я должен оттуда выбраться.

– Ах, как мне хотелось писать, – раздумчиво произнес он. – Я имею в виду – стихи. Очерки. Хороший роман. Учтите: не великий — я знал, что на это у меня не хватит таланта и целеустремленности, – а просто хороший, нечто по-настоящему изящное и оригинальное. Роман вроде «Моста короля Людовика Святого» или «Смерть приходит за архиепископом»[26 - «Мост короля Людовика Святого» (1927) – роман известного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Торнтона Уайлдера; «Смерть приходит за архиепископом» (1927) – роман известной американской писательницы Уиллы Кэсер.] – без претензий, но близкий к совершенству. – Помолчав, он продолжал: – Но что-то сбило меня с пути. Возможно, сказались долгие годы редакционной работы: ведь редактировал-то я технические тексты. Меня сбило с пути то, что я столько времени имел дело с чужими идеями и словами, а это едва ли способствует творческим успехам. По большому счету. – И снова умолк, глядя на остатки янтарной жидкости в своем стакане. – А возможно, вот это сбило меня с пути, – печально произнес он. – Выпивка. Этот патентованный эликсир мечты. Словом, писателем я так и не стал. Не стал ни романистом, ни поэтом, что же до очерков, то за всю жизнь я написал всего один. Знаете о чем?

– Нет, о чем же?

– Для «Сатердей ивнинг пост». Забавную историю про отпуск, который мы с женой провели в Квебеке. Об этом и писать-то не стоило. Но я получил за свой очерк двести долларов и несколько дней был счастливейшим писателем в Америке. Ну, что поделаешь… – Волна печали захлестнула его, и он умолк. Затем прошептал: – Сбился я с пути.

Я не знал, как быть: ведь человек был близок к отчаянию, – и, продолжая засовывать вещи в портфель, произнес лишь:

– Ну, я надеюсь, мы сможем как-то поддерживать отношения.

Однако я знал, что никаких отношений мы поддерживать не будем.

– Я тоже надеюсь, – сказал Фаррелл, – жаль, что мы не узнали друг друга лучше. – Он уставился на стакан и замолчал так надолго, что я уже начал нервничать. – Жаль, что мы не узнали друг друга лучше, – медленно повторил он наконец. – Мне не раз приходила в голову мысль пригласить вас к себе в Куинс на ужин, но я всякий раз откладывал. Знаете, вы очень напоминаете мне моего сына.

– Я не знал, что у вас есть сын, – не без удивления произнес я. Однажды я слышал, как Фаррелл мимоходом и довольно сухо сказал, что он «бездетен», и решил, как принято говорить, что «Бог не наделил его этой благодатью». Но дальше мое любопытство не пошло. В атмосфере ледяной безликости, царившей в «Макгроу-Хилл», малейший интерес к личной жизни другого человека был бы сочтен наглостью, если не непристойностью. – Я-то думал, что вы… – начал я.

– О, у меня был сын – и еще какой! – Он вдруг перешел на крик, испугав меня смесью ярости и скорби. Водка высвободила всех кельтских фурий, которые ежедневно слетались к нему в пору отчаяния, наступавшего после пяти часов дня. Он встал и, подойдя к окну, уставился сквозь сумерки на непостижимый мираж Манхэттена, горевшего в лучах закатного солнца. – О да, у меня был сын! – повторил он. – Эдвард Кристиан Фаррелл. Он был как раз ваших лет – ему только исполнилось двадцать два, – и он хотел стать писателем. Он был… он был королем в языке, мой сын. Такой у него был дар – он мог заговорить самого дьявола, а какие письма писал – длинные, забавные, прочувствованные, умные, таких прелестных писем никто не писал. О да, этот мальчик был настоящим королем в языке!

Глаза Фаррелла наполнились слезами. Все это было так странно; я сидел как парализованный – такие минуты бывают в жизни, хотя, слава Богу, не часто. Почти незнакомый тебе человек вдруг начинает говорить о ком-то любимом и близком в прошедшем времени, ставя слушателя в затруднительное положение. Он явно дает понять, что тот мертв. Но стоп! А не мог ли этот парень просто

сбежать из дома, пав жертвой амнезии, или попасть под суд и скрываться? Или, может быть, он влачит жалкое существование в сумасшедшем доме, так что упоминание о нем в прошедшем времени следует воспринимать как эвфемизм? Между тем Фаррелл снова заговорил, так и не дав мне ключа к разгадке судьбы своего сына, – от растерянности и смущения я повернулся к нему спиной и продолжал собирать вещи.

– Возможно, я бы легче это пережил, не будь он у меня единственным. После рождения Эдди у нас с Мэри не могло быть больше детей. – Фаррелл вдруг умолк. – А-а, вам неинтересно это слушать…

Я повернулся к нему.

– Нет, продолжайте, – сказал я, – пожалуйста. – Ему явно необходимо было высказаться, а поскольку человек он был добрый, симпатичный, да к тому же я в известном смысле напоминал ему сына, я решил, что нехорошо будет не дать ему возможности облегчить душу. – Пожалуйста, продолжайте, – повторил я.

Фаррелл плеснул себе в стакан еще изрядную порцию водки. Он был совсем пьян, и язык у него слегка заплетался, а веснушчатое, бледное от сидения в помещении лицо было в свете угасающего дня печальным и измученным.

– Да, это правда: человек может осуществить свои надежды через своих детей. Эдди поступил в Колумбийский университет, и я был потрясен тем, как он взялся за книги, его даром к слову. В девятнадцать лет – учтите: в девятнадцать! – у него уже был опубликован очерк в «Нью-Йоркере», а Уит Бэрнетт взял его рассказ для «Стори». По-моему, он был одним из самых молодых авторов этого журнала за всю историю его существования. У мальчика был, понимаете, глаз, глаз. – Фаррелл ткнул указательным пальцем себе в глаз. – Он видел, понимаете, видел то, чего мы все не видели, и в его изложении любая история выглядела свежей и живой. Марк Ван Дорен[27 - Ван Дорен, Марк (1894–1972) – известный американский поэт и литературный критик; лауреат Пулитцеровской премии.] прислал мне чудесную записку – чудеснее, право же, быть не может: он сказал, что у Эдди величайший природный дар, он так пишет, как ни один из его студентов. Вы представляете себе – Марк Ван Дорен! Такая похвала, верно ведь? – И он вперил в меня взгляд, как бы ища подтверждения.

– Похвала немалая, – согласился я.

– А потом… потом в сорок третьем он пошел в морскую пехоту. Сказал, что лучше сам запишется, чем будет ждать, когда его призовут. Честно говоря, ему импонировала слава морских пехотинцев, но по натуре он был человек чувствительный и никаких иллюзий насчет войны не имел. Война! – Фаррелл произнес это слово с отвращением, словно редко употребляемое ругательство, и умолк, закрыв глаза и горестно кивнув. Потом снова уперся в меня взглядом и продолжал: – Он попал на Тихий океан и участвовал в самых тяжелых боях. Вы бы почитали его письма – замечательные, длинные, веселые, без капли жалости к себе. Он ни разу не усомнился, что вернется домой и снова пойдет в Колумбийский университет, окончит его и станет, как и собирался, писателем. А потом, два года тому назад, он попал на Окинаву, и снайпер подстрелил его. В голову. Было это в июле, они прочесывали местность. Он, наверное, был одним из последних морских пехотинцев, погибших в войну. Дослужился до капрала. Получил Бронзовую звезду. Не знаю, почему так случилось. Господи, я не знаю, почему так случилось! Господи, почему!

Фаррелл плакал – негромко, но самые настоящие, сверкающие слезы катились из уголков его глаз, и я отвернулся с таким острым чувством стыда и своей несостоятельности, что даже сейчас, много лет спустя, я снова ощущаю легкий озноб и тошноту, подступившую тогда у меня к горлу. Сейчас это, пожалуй, трудно объяснить – ведь с тех пор прошло уже тридцать лет, добавьте к этому усталость и цинизм, порожденные несколькими варварскими войнами, которые за это время вели американцы, – и моя реакция может показаться безнадежно старомодной и романтической. Однако факт остается фактом: я, как и Эдди Фаррелл, служил в морской пехоте; как и Эдди, горел желанием стать писателем и слал домой с Тихого океана письма, написанные кровью сердца с той причудливой смесью страсти, юмора, отчаяния и беспредельной надежды, какая может образоваться в душе очень молодого человека под влиянием неизбежной близости смерти. Еще большей натяжкой может показаться то, что я тоже высадился на Окинаве всего через несколько дней после гибели Эдди (кто знает, часто думал я потом, может быть, всего через несколько часов после того, как он был смертельно ранен), и там уже не было противника, не было страха, вообще не было опасности, а по милостивому благоволению истории был изуродованный, но мирный восточный пейзаж, и я бродил по острову в те последние недели перед Хиросимой, не таясь и ничего не опасаясь. Я не слышал ни одного выстрела разъяренного противника – такова горькая правда, и хотя с точки зрения сохранности моей шкуры я оказался любимцем фортуны, если таковые бывают, тем не менее я не мог избавиться от чувства, что судьба лишила меня возможности познать нечто страшное и великолепное. В этом смысле – вернее, в смысле познания такого опыта – ничто и никогда не пронзало

меня глубже краткого, исполненного отчаяния рассказа Фаррелла о своем сыне Эдди, павшем на земле Окинавы, чтобы я мог жить – и писать. Фаррелл сидел и плакал в сумерках, а у меня было такое чувство, будто меня укоротили, уменьшили, и я не мог выжать из себя ни слова.

Фаррелл поднялся, вытер глаза и, подойдя к окну, уставился на розовый от солнца Гудзон, по которому размытые очертания двух больших пароходов медленно продвигались в направлении океана. Весенний ветер, словно демоны, завывал вокруг зеленых безразличных карнизов «Макгроу-Хилл». Когда Фаррелл снова заговорил, голос его звучал как бы издалека, и было в нем несказанное отчаяние:

Все, что важно для человека,

Длится миг или день...

Крик герольда, чеканная поступь солдата —

Вот и вся его слава, вся его мощь,

Тот костер, что разожгла нощь

Из смолистого сердца твоего брата[28 - Стихотворение У. Б. Йетса.].

Затем он повернулся ко мне и сказал:

– Пиши, сынок, работай до седьмого пота. – С этими словами он, пошатываясь, побрел по коридору и навеки ушел из моей жизни.

А я еще долго стоял, размышляя о будущем, которое казалось мне теперь столь же туманным и неясным, как затянутый дымкой горизонт за лугами Нью-Джерси. Я был еще слишком молод, чтобы чего-то действительно бояться, и, однако, уже не настолько молод, чтобы не поддаться опасениям. Эти нелепые рукописи, которые я читал, в известной мере служили мне предупреждением, показывая, сколь грустно кончаются честолюбивые мечты – особенно когда дело касается литературы. Превыше всего – уже не в надеждах и мечтах – я хотел стать писателем, но история, рассказанная Фарреллом, глубоко поразила меня в самое сердце, и я впервые в жизни почувствовал, до какой степени я пуст. Да, правда, я проделал большой путь для молодого человека, но мой внутренний мир по-прежнему был привязан к земле – я не знал любви и не столкнулся со смертью. В

ту пору я и понятия не имел, как скоро встречусь с ними обеими, плодами человеческих страстей и человеческой плоти, от которых я отгородился, закупорившись в самодовольстве, в затхлой атмосфере самоограничения. Не имел я понятия и о том, что открытие мира для меня совпадет с переездом в столь странное место, как Бруклин. Я лишь знал пока, что вот сейчас в последний раз спущусь в продезинфицированном зеленом лифте с двадцатого этажа на шумные улицы Манхэттена и там отпраздную свое избавление дорогим канадским пивом и бифштексом из вырезки, который съем впервые со времени приезда в Нью-Йорк.

Второе

После этого банкета, который я устроил сам себе вечером в ресторане «Лоншан», что в нижней части Пятой авеню, я подсчитал свои финансы и обнаружил, что все мое достояние составляет меньше пятидесяти долларов. Хотя, как я уже сказал, подлинного страха я не испытывал, я не мог не почувствовать себя немного неуютно, особенно если учесть, что перспектива найти другую работу сводилась почти к нулю. Однако я мог не волноваться, так как дня через два мне привалило неожиданное счастье, что меня и спасло – по крайней мере на ближайшее будущее. Этот свалившийся на меня с неба дар был поразительной, феноменальной удачей и, как и в другом случае, имевшем место много позже, был обязан своим происхождением существованию в Америке рабства. Хотя все это имеет лишь косвенное отношение к моей новой жизни в Бруклине, история дара столь необычна, что ее стоит рассказать.

Получил я его главным образом благодаря бабушке по отцовской линии – когда этой сухонькой маленькой старушке подходило к девяноста годам, она рассказала мне, что у нее были рабы. Я часто с трудом верю, что так мало времени отделяет меня от старого Юга и что не какое-то далекое поколение моих предков владело черными людьми, а просто моя родная бабушка, родившаяся в 1848 году, в тринадцать лет владела двумя маленькими негритянками чуть моложе ее, которые прислуживали ей и на которых, несмотря на существование Авраама Линкольна и положений Декларации независимости об эмансипации, она смотрела в течение всех лет, что длилась Гражданская война, как на свои любимые вещицы. Я говорю «любимые» без всякой иронии, так как уверен: она очень их любила, и, когда она вспоминала про Друзиллу и Люсинду (а таковы были их несравненные имена), ее дряхлый, дрожащий

голосок надламывался от волнения, и она говорила мне, «до чего же дороги, до чего же дороги» были ей эти девочки и как в холодную военную пору она переворачивала небо и землю в поисках шерстяной пряжи, чтобы связать им чулки. Было это в округе Бофорт, в Северной Каролине, где бабушка провела всю свою жизнь, – с этими местами она и связана в моей памяти. В тридцатые годы каждую Пасху и каждый День благодарения мы с отцом отправлялись из нашего дома в Виргинии навестить ее – ехали среди болот и плоских, однообразных плантаций земляного ореха, табака и хлопка, мимо заброшенных негритянских хижин, ветхих и тоже однообразных. Добравшись наконец до сонного городка на реке Памлико, мы с особой нежностью, ласково здоровались с бабушкой – она ведь уже многие годы была почти полностью парализована. И вот лет двенадцати или тринадцати, сидя у кровати бабушки, я слушал ее рассказы о Друзилле и Люсинде, о лагерных стоянках и отстреле индеек, о пчелках-швеях, катаниях на пароходике вниз по Памлико и прочих радостях довоенных лет, – нежный птичий голосок был еле слышен, но милая старушка щебетала и щебетала, пока, умолкнув, не засыпала.

Не мешает, однако, знать, что она никогда не рассказывала ни мне, ни отцу о малыше-рабе, высокопарно прозванном Артистом, которого, как и Друзиллу с Люсиндой, «подарил» ей отец, а потом вскоре продал. Как станет ясно из двух писем, которые я скоро приведу, бабушка никогда не упоминала об этом мальчишке, несомненно, из-за необычной участи, постигшей его. Так или иначе, любопытно, что отец моей бабушки, совершив сделку, обменял полученные деньги на золотые доллары Конфедерации различного достоинства – видимо, в предчувствии гибельной войны, – положил их в глиняный кувшин и зарыл его под азалией на заднем дворе. В результате, когда янки в последние месяцы войны явились к нам под цокот копыт и, сверкая саблями, перевернули весь дом на глазах у испуганной девчушки (моей бабушки), а также обыскали сад, золота они не нашли. Кстати, я совершенно точно помню, как описывала бабушка солдат Союза: «Это были, право же, бравые, красивые люди, и то, что они переломали все у нас в доме, – так это по долгу службы, но, конечно, ни культурой, ни воспитанностью они не отличались. Я уверена, что они были из Огайо. Они даже окорока из окон выбрасывали». Мой прадед, вернувшись со страшной войны без глаза и с разбитой коленной чашечкой – оба увечья были получены им под Чанселлорсвиллом, вырыл золото и, когда дом снова привели в порядок, спрятал монеты в хитро придуманном тайнике в погребе.

Там сокровище могло бы пролежать до скончания века, ибо в противоположность таинственным кладам, о которых время от времени сообщают в новостях, – пачкам зеленых бумажек, или испанским дублонам, или

чему-то подобному, на что натыкаются лопаты рабочих, – это золото, казалось, было обречено вечно лежать в тайнике. Когда мой прадед в конце века погиб на охоте, в его завещании ни словом не упоминалось про монеты – вероятно, по той простой причине, что все деньги он завещал дочери. Когда же она умерла сорок лет спустя, то в своем завещании упомянула про золото: там было сказано, что его следует поделить между ее многочисленными внуками, но по рассеянности, свойственной преклонному возрасту, бабушка забыла указать, где спрятано сокровище, каким-то образом спутав погреб со своим сейфом в местном банке, который, конечно, этой части наследства выдать по естественной причине не мог. И в течение еще семи лет никто не знал, где оно находится. Извлек находку из забвения и пыли, в которой золото пролежало среди муравьев, пауков и мышей, мой отец, последний из оставшихся в живых шести детей моей бабушки. Всю свою долгую жизнь он с благоговением и воодушевлением интересовался прошлым своей семьи и ее родословной – он получал такое же наслаждение от копания в письмах и вещицах давно умершего, совершенно неинтересного дальнего кузена, какое получил бы ученый, занимающийся викторианской эпохой, напав на целый ящик дотоле неизвестной, весьма откровенной любовной переписки Роберта и Элизабет Браунинг[29 - Браунинг, Роберт (1812–1889) – английский поэт, женатый на поэтессе Элизабет Браунинг (1806–1861).]. Представьте себе в таком случае восторг отца, когда, просматривая пачку выцветших писем своей матушки, он обнаружил письмо к ней от моего прадеда, в котором не только было указано местонахождение тайника в погребе, но и рассказаны подробности продажи маленького раба Артиста. И вот теперь два документа слились в одном письме. В послании, полученном мною от отца из Виргинии, как раз когда я укладывал свои пожитки, намереваясь покинуть Клуб и резиденцию университантов, содержится много интересных сведений не только о нескольких поколениях южан, но и о великих событиях, которые тогда назревали.

4 июня 1947 г.

Дорогой мой сынок!

Передо мной твое письмо от 26-го, в котором ты сообщаешь, что покончил со службой. С одной стороны, моя Язвинка, это жаль, потому что ты попадаешь в тяжелое финансовое положение, а я не в состоянии существенно тебе помочь, так как на мне уже, видимо, до конца дней лежит бремя забот о двух твоих тетушках, живущих в Северной Каролине, и оплате их долгов, ибо они, боюсь,

преждевременно и весьма прискорбно выжили из ума. Однако надеюсь, через несколько месяцев мое финансовое положение выправится, и мне хочется думать, что тогда я смогу немного помочь тебе в твоем желании стать писателем. С другой стороны, я думаю, может, и хорошо, что ты отказался от работы в «Макгроу-Хилл», которая, судя по твоим же описаниям, выглядела весьма малопривлекательно, да и в любом случае эта фирма известна как рупор и проводник идей верхушки коммерсантов-грабителей, которые уже более ста лет пьют кровь американского народа. С тех пор как твой прадед вернулся покалеченный и без глаза с Гражданской войны и вместе с моим отцом попытался создать скромное дело по производству нюхательного и жевательного табака в округе Бофорт – правда, эти мерзавцы Вашингтон Дьюк и его сынок Дьюк Бычок своими пиратскими действиями быстро развеяли в прах их мечты, – так вот, с тех пор как я узнал об этой трагедии, во мне живет неугасимая ненависть к жестокому монополистическому капиталу, изничтожающему маленького человека. (Я считаю величайшей иронией судьбы то, что ты получил образование в заведении, основанном на дурно пахнущие барыши Дьюков, хотя едва ли тебя можно в этом винить.)

Ты наверняка помнишь Фрэнка Хоббса, которого я многие годы подвозил на верфь, где мы вместе работали. Родился он на плантации земляного ореха в округе Саутхемптон, и человек он во многих отношениях неплохой, основательный, но, как ты, может быть, помнишь, такой непроходимый реакционер, что взгляды его – даже по виргинским нормам – подчас кажутся бешеными. Поэтому мы с ним редко беседуем об идеологии или политике. Несмотря на все ужасы, которые, как недавно выяснилось, творились в нацистской Германии, он продолжает оставаться антисемитом и утверждает, что международные финансисты-евреи прибрали к рукам все богатства мира. Я бы, конечно, похохотал над этим утверждением до слез, не будь это таким мракобесием, и хотя я согласен с Хоббсом, что Ротшильд и Варбург, безусловно, еврейские фамилии, тем не менее, как я пытаюсь ему внушить, алчность свойственна не какой-то отдельной нации, а всему человечеству, после чего я принимаюсь перечислять ему имена: Карнеги, Рокфеллер, Фрик, Меллон, Гарриман, Хантингтон, Уитни, Дьюк – ad infinitum, ad nauseam[30 - До бесконечности, до тошноты (лат.).]. А с Хоббса как с гуся вода, к тому же он в любом случае может излить свою желчь на более доступную, находящуюся под рукой – особенно в этой части Виргинии – цель, а именно (мне нет нужды тебе это называть) на негров. Так что мы просто стараемся пореже и поменьше говорить на эту тему, ибо aet[31 - В возрасте (лат.).]59 поздновато мне затевать кулачный бой. Письмена, сынок, уже начертаны на стене. Если негр, как частенько говорят, принадлежит к «низшей» расе, какой бы смысл в это ни

вкладывался, то безусловно потому, что он поставлен нами, расой господ, в невыгодное, бесправное положение и, следовательно, может явить миру лишь потупленное лицо неполноценного человека. Но негр ведь не может вечно находиться на дне общества. Никакая сила на земле не может удержать народ любого цвета кожи в омерзении и бедности, какие я наблюдаю вокруг – и в городе, и в сельских местах.

Не знаю, станет ли негр еще при моей жизни пользоваться большей свободой – я не такой уж оптимист, – но на твоем веку безусловно станет, и я бы отдал почти все, что имею, чтобы присутствовать при том, когда наступит этот день и Гарри Бэрд[32 - Бэрд, Гарри (1887–1966) – губернатор Виргинии; сенатор в конгрессе США, отличавшийся расистскими взглядами.]увидит негров – мужчин и женщин, – сидящих не в хвосте автобуса, а свободно, как равноправные граждане, разъезжающих по улицам Виргинии. Ради этого я готов снести омерзительное прозвище «негролиз», хотя уверен, что втихую многие меня так называют, в том числе и Фрэнк Хоббс.

Это довольно кружным путем подводит меня к основному предмету моего письма. Возможно, Язвинка, ты помнишь, как несколько лет назад, когда нам вручили завещание твоей бабушки, все мы были несколько ошарашены тем, что в нем упоминалась некая сумма в золотых монетах, которые она оставила своим внукам, но которых мы так и не смогли найти. Теперь эта тайна раскрыта. Как ты знаешь, будучи историком, я принадлежу к местному отделению «Сыновей Конфедерации», и, собравшись писать довольно пространное эссе о твоем прадеде, я подробно обследовал его поистине обширную переписку с семьей, в том числе немало писем, адресованных твоей бабушке. В одном письме, написанном в 1886 году из Норфолка (а он ездил туда по делам своей табачной фирмы как раз перед тем, как этот мерзавец Дьюк Бычок уничтожил его), он раскрывает, где находится золото – не в железном ящике-сейфе (твоя бабушка со временем явно все перепутала), а замуровано в стене подвала нашего дома в Северной Каролине. Я пошлю тебе фотокопию этого письма – я ведь знаю, что ты интересуешься рабством, и, если когда-либо тебе захочется об этом написать, это трагическое письмо может приоткрыть тебе поразительные вещи. Как выяснилось, спрятанные деньги выручены от продажи 16-летнего негра по имени Артист, который приходился старшим братом служанкам твоей бабушки – Люсинде и Друзилле. Все трое были сиротами, когда твой прадед купил их в конце 50-х годов прошлого века на аукционе в Питерсберге, штат Виргиния. Все трое были записаны на имя твоей бабушки; девчушки работали в доме; там же они и жили, как и Артист, которого, однако, давали внаем другим семьям в городе для выполнения разных поручений.

Потом произошла одна некрасивая история, о чем твой прадед весьма деликатно намекает в письме к моей матушке. Похоже, Артист – под влиянием первого прилива юношеских вожделений – «непотребно приставал», как выразился твой прадед, к одной из молоденьких белых красавиц городка. Это, конечно, породило волну угроз и насилия, мгновенно затопившую всю общину, и твой прадед поступил так, как в ту пору считалось вполне естественным. Он тайком отправил Артиста в Нью-Берн, где, как он знал, покупали молодых негров для работы в лесах Брансуика, в штате Джорджия, на добыче скипидара. Он продал Артиста работорговцу за 800 долларов. Эти-то деньги и были спрятаны в подвале старого дома.

Но на этом, сынок, история не кончается. Письмо это производит совершенно душераздирающее впечатление: в нем твой прадед рассказывает о последствиях своего шага и о том, как он страдал и каялся, с чем, как я заметил, часто сталкиваешься в рассказах о рабстве. Возможно, ты уже догадался о том, что воспоследует. Как выяснилось, Артист вовсе и не «приставал» к белой девушке. Девица оказалась истеричкой – вскоре она обвинила другого негритянского парнишку в таких же грехах, только тут стали разбираться, и было доказано, что она все наврала, после чего она сломалась и признала, что ее обвинения против Артиста тоже были сплошной ложью. Можешь представить себе, как терзался твой прадед. В этом письме к моей матушке он описывает, какие переживал муки. Он не только поистине непростительно поступил как типичный рабовладелец, разрушив семью, но и продал ни в чем не повинного шестнадцатилетнего паренька на адскую работу в скипидарных лесах Джорджии. Он рассказывает, как по почте и с нарочными посылал отчаянные запросы в Брансуик, предлагая выкупить парня за любую цену, но в ту пору связь, естественно, работала медленно и была ненадежной, а во многих случаях письма просто не доходили по назначению, и Артист так и не нашелся.

Я обнаружил 800 долларов в том самом месте в подвале, как и описал мой дед твоей бабушке. Мальчишкой я часто складывал веревки и сваливал яблоки и картофель в каких-нибудь шести дюймах от тайника. Монеты, как ты можешь себе представить, с годами невероятно выросли в цене. Некоторые из них оказались довольно редкими. Я отвез их в Ричмонд оценщику – по-моему, они называются нумизматами, – и он предложил мне за них свыше 5500 долларов, которые я и взял: ведь это получается 700 процентов прибыли с той суммы, за которую был продан бедняга Артист. Сумма получилась солидная, но, как ты знаешь, согласно завещанию твоей бабушки, она должна быть поделена поровну между всеми ее внуками. В противном случае ты мог бы получить куда больше.

Не в пример мне, у которого хватило предусмотрительности в этот перенаселенный век произвести на свет всего одного сына, твои тетушки – мои поразительно плодовитые сестрицы – подарили миру в общем и целом 11 отпрысков, все они здоровы, все хотят кушать и все бедные. Таким образом, твоя доля от продажи Артиста составит без малого 500 долларов, которые я надеюсь на этой неделе выслать тебе в виде заверенного чека, а если не на этой неделе, то как только все формальности будут завершены…

Преданный тебе отец.

Многие годы спустя я подумал, что, выдели я Национальной ассоциации помощи цветному населению большую часть суммы, полученной от продажи Артиста, вместо того чтобы оставить все себе, мне, возможно, удалось бы избавиться от чувства вины, а заодно доказать, что я еще в молодости был озабочен положением негров и готов был идти ради этого на жертвы. Но в конечном счете я, в общем, рад, что оставил деньги себе. Дело в том, что много лет спустя, когда черные стали все упорнее и разнузданнее обвинять меня в том, что как писатель – притом писатель лживый! – я извлекаю выгоду и пользу из страданий рабов, я пришел к своего рода мазохистскому выводу и, думая об участи Артиста, сказал себе: «Какого черта, эксплуататор-расист всегда и останется эксплуататором-расистом». А кроме того, в 1947 году эти 485 долларов нужны мне были не меньше, чем любому черному, или негру, как мы их тогда называли.

* * *

Я продержался в Клубе и резиденции университантов, пока не получил чек от отца. Если разумно распоряжаться деньгами, их должно было хватить мне на лето, которое только начиналось, а возможно, даже и на осень. Но вот где поселиться? Жить в Клубе и резиденции университантов я уже не мог – ни морально, ни физически. Я дошел здесь до такой полнейшей импотенции, что уже не способен был даже устраивать самому себе эротические развлечения и ограничивался тем, что во время ночных прогулок по Вашингтон-сквер украдкой поглаживал себя сквозь подкладку брючного кармана. Я понимал, что мое чувство одиночества граничит с патологией – настолько остро я ощущал свою изоляцию, – и подозревал, что почувствую себя еще более потерянным, если уеду из Манхэттена, где по крайней мере есть знакомые ориентиры и милые сердцу закоулки Гринвич-Виллидж, уже ставшие мне родными. Однако ни

приобрести, ни снять квартирку на Манхэттене было мне просто не по карману – даже комнаты я бы не осилил, – а потому надо было искать среди объявлений Бруклина. Вот каким образом ясным июньским днем я вышел из метро на Черч-авеню с сумкой морского пехотинца и чемоданом в руках, сделал несколько глотков живительного, пахнущего маринадами воздуха Флэтбуш-авеню и под нежной зеленью платанов прошагал несколько кварталов до меблированных комнат Етты Зиммермен.

Дом Етты Зиммермен выделялся своей монохромией, пожалуй, не только среди зданий Бруклина, но и всего Нью-Йорка. Большой, наполовину оштукатуренный, наполовину деревянный, построенный в неописуемо беспорядочном стиле, он был возведен, думается, перед Первой мировой войной или сразу после нее и слился бы с прочими, единообразно уродливыми большими домами, вытянувшимися вдоль Проспект-парка, не будь он таким пронзительно-розовым. А он был весь розовый – от мансардных окон и башенок третьего этажа вплоть до рам подвальных окон. Когда я впервые его увидел, мне тотчас пришло на ум сравнение с фасадом некоего заброшенного замка, сохранившегося после съемок «Волшебника из страны Оз» на студии «Метро-Голдвин-Майер». Внутри все тоже было розовое. Полы, стены, потолки и даже большая часть мебели в каждом холле и каждой комнате лишь слегка отличались друг от друга – очевидно, из-за неровной окраски, – демонстрируя все оттенки розового, от нежно-розовой свежей семги до агрессивно-кораллового цвета пузырчатой жвачки, но всюду было розовое, розовое, не желавшее спорить ни с каким другим цветом, так что, побыв несколько минут в моей будущей комнате под исполненным гордости взглядом миссис Зиммермен, я сначала почувствовал прилив веселья – это был будуар купидона, вызывавший желание хохотать до упаду, – а потом мне показалось, что я попал в капкан и нахожусь то ли в кондитерском магазине Барричини, то ли в детской секции «Гимбелса».

– Я знаю, вас смущает розовый цвет, – сказала тогда миссис Зиммермен, – он всех смущает. А потом он таки вас пленит. Он в вас «врастет» – по-хорошему, я хочу сказать: действительно по-хорошему. Очень скоро многие и думать не хотят ни о каком другом цвете. – И, не дожидаясь расспросов с моей стороны, она добавила, что ее мужу Солу – покойному мужу – крупно повезло: он смог приобрести у флотских по фантастически дешевой цене несколько сотен галлонов краски, которой пользовались для… «ну, вы же знаете» – и умолкла, озадаченно приставив палец к широкому пористому носу.

– Маскировки? – подсказал я.

На что она ответила:

– Угу, вот именно. Им, видно, розовая краска на этих их кораблях не очень-то была нужна. – Она сказала, что Сол сам и красил дом.

Етта была приземистая, дородная женщина лет шестидесяти или около того, со слегка монгольскими чертами оживленного лица, что делало ее похожей на улыбающегося Будду.

Она меня почти сразу уговорила. Во-первых, это было дешево. Затем, розовая или не розовая, но комната, которую она показала мне на первом этаже, была приятно просторная и чистая, как голландская гостиная; в ней было много воздуха, солнца. Более того, к ней примыкала такая роскошь, как кухонька и отдельная ванная комнатка, где умывальник и унитаз выступали резкими белыми пятнами на общем фоне цвета перечной мяты. Меня прельщало уже то, что все было отдельное; вдобавок там было еще и биде, которое сразу внесло в атмосферу пикантную нотку и электрической искрой воспламенило мои надежды. Большое впечатление произвело на меня и то, как миссис Зиммермен смотрела на свое заведение, а она, водя меня по дому, пространно изложила мне свои взгляды.

– Это у нас называется Еттин Холл Свободы, – говорила она, то и дело подталкивая меня в бок локтем. – Что я люблю, так это чтоб мои жильцы получали удовольствие от жизни. Жильцы – они у меня обыкновенно молодые, и я люблю, когда они получают удовольствие от жизни. Это вовсе не значит, что у меня нет правил. – Она подняла толстый шишковатый указательный палец и принялась им отмахивать. – Правило номер один: никакого радио после одиннадцати. Правило номер два: извольте выключать весь свет, когда выходите из комнаты, – нечего мне платить больше положенного «Консолидейтед Эдисон». Правило третье: решительно никакого курения в постели, застигли курящим – вон. У моего покойного супруга Сола был кузен – так он этаким манером сжег себя и весь дом. Правило номер четыре: каждую пятницу – плата за неделю. Все – больше правил нет! В остальном пользуйтесь Еттиным Холлом Свободы. Я что хочу сказать: это ведь заведение для взрослых. Ясно, у меня тут не бордель, но хочется вам иной раз привести к себе девочку – приводите девочку. Будете держать себя тихо, как джентльмен, и выпроводите ее в положенное время – никаких неприятностей с Еттой из-за девчонки у вас не будет. Так же должны вести себя и молодые леди, которые у меня тут квартируют, когда какой-нибудь захочется пригласить к себе приятеля –

пожалуйста. Что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни, так я говорю, а уж что ненавижу, так это лицемерие.

Эта удивительная широта взглядов, проистекавшая, как я мог лишь догадываться, из присущего Старому Свету умения ценить volupte[33 - Наслаждение (фр.).], окончательно утвердила меня в решении переехать к Етте Зиммермен, несмотря на то что пользоваться даруемой ею свободой представлялось мне весьма проблематичным. Ну где я возьму девушку? – подумал я. И тут же разозлился на себя за свою непредприимчивость. Раз Етта (а мы вскоре уже называли друг друга по имени) дала мне свое благословение, значит, эта важная проблема скоро сама собою разрешится. Стены цвета семги словно вдруг засветились похотливым блеском, и я внутренне весь затрепетал от ожидающего меня наслаждения. А через несколько дней я переселился туда, предвкушая лето, насыщенное плотскими радостями, философским возмужанием и неуклонным продвижением по творческому пути, который я для себя наметил.

В мое первое утро на новом месте – в субботу – я встал поздно и отправился в писчебумажный магазин на Флэтбуш-авеню, где купил две дюжины карандашей «Бархатная Венера № 2», десять линованных желтых блокнотов и точилку для карандашей «Бостон», которую с разрешения Етты привинтил к косяку двери в ванную. Затем я сел на розовый плетеный стул с прямой спинкой, стоявший перед дубовым столом, тоже выкрашенным в розовый цвет, – его зернистая поверхность и прочность привели мне на память столы, за которыми сидели матроны-учительницы в начальной школе моего детства, – и, зажав карандаш между большим и указательным пальцами, уставился на первую страницу желтого блокнота, пугавшую глаз своей пустотой. Как же оскорбляет взор, как обессиливает пустая страница! Вдохновения не было, и ничто не приходило на ум; хотя я просидел так битых полчаса, жонглируя наполовину сформировавшимися идеями и весьма туманными образами, панике не поддался: в конце концов, рассуждал я, сначала надо освоиться в этой непривычной атмосфере.

В феврале прошлого года, в первые дни моего пребывания в Клубе и резиденции университантов, прежде чем начать работать в «Макгроу-Хилл», я написал с десяток страниц будущего пролога к роману: описание поездки по железной дороге в маленький виргинский городок, где должны разворачиваться события книги. Сильно заимствовав интонацию первых эпизодов из «Всей королевской рати»[34 - «Вся королевская рать» – роман известного современного

американского писателя Роберта Пенна Уоррена (1905–1989).], использовав тот же ритм и даже ведя рассказ от второго лица единственного числа, чтобы, так сказать, сразу схватить читателя за лацканы, я понимал, что написанный мною кусок можно назвать по меньшей мере подражательным, но знал я и то, что в нем немало сильных и свежих мыслей. Я гордился написанным, это было хорошим началом, и сейчас, вынув рукопись из папки, наверное, в девяностый раз перечитал. Кусок этот по-прежнему мне нравился, и у меня не возникло желания изменить хоть строчку. А ну, подвинься, Уоррен, – появился Язвина-Стинго, сказал я себе. И сунул листки обратно в папку.

А желтая страница продолжала оставаться пустой. Мне не сиделось, одолевали похотливые мыслишки, и чтобы задернуть шторку перед мысленным взором, который вечно готов был подкинуть парад непристойных видений – занятие невинное, но отвлекающее от работы, – я встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, которую летнее солнце окрасило в зловещий цвет фламинго. Тут я услышал голоса, шаги в комнате наверху – я понял, что стены здесь тонкие, как бумага, – и, задрав голову, гневно уставился на розовый потолок. Я начал ненавидеть этот вездесущий розовый цвет и всерьез усомнился, что он когда-либо в меня «врастет», как сказала Етта. Из-за веса и места я привез с собой лишь те книги, которые представлялись мне необходимыми; их было немного – вот они: Американский словарь для колледжей, «Thesaurus» Роже[35 - Роже, Питер Марк (1779–1869) – английский ученый и врач, составитель словаря английских синонимов; «Thesaurus» – «Сокровище» (лат.).], однотомники Джона Донна и Оутса, Полное собрание греческой драмы О’Нила, справочник Мерка по диагностике и терапии (необходимый при моей ипохондрии), Оксфордское собрание английской поэзии и Библия. Я знал, что со временем смогу постепенно подобрать себе библиотеку. А пока, стремясь вызвать к жизни собственную музу, я принялся читать Марло[36 - Марло, Кристофер (1564–1593) – английский драматург, писавший пьесы в стихах. Особенно известна «Трагическая история доктора Фауста».], но почему-то баюкающая музыка его стиха на сей раз ничего во мне не пробудила.

Я отложил книгу и, юркнув в крошечную ванную, стал перебирать содержимое медицинского шкафчика. (Много лет спустя я с изумлением обнаружу, что герой Дж. Д. Сэлинджера проделывал то же самое, но тут я претендую на приоритет.) Это был ритуал, коренившийся в непонятном неврозе и потребности чем-то занять себя; с тех пор я проделывал это много раз, когда воображение и изобретательность совсем покидали меня и становилось трудно как писать, так и читать. Такое мое поведение объяснялось таинственной потребностью восстановить осязаемую связь с вещами. Кончиками пальцев я перебирал все то,

чем пользовался лишь накануне вечером, а затем ставил на полочки стенного шкафчика, который, как и все остальное, пал жертвой безумного пристрастия Сола Зиммермена к розовой краске: вот баночка с кремом для бритья «Барбасол», бутылочка с таблетками «алка-зелцер», безопасная бритва «Шик», два тюбика зубной пасты «Пепсодент», зубная щетка доктора Уэста со щетиной средней длины, бутылочка лосьона после бритья «Ройял лайм», кентовская гребенка, пачка лезвий «Шик», нетронутая, упакованная в целлофан коробка с тремя дюжинами презервативов, бутылочка шампуня против перхоти «Брек», пакетик с нейлоновыми зубочистками «Рексолл», бутылочка с поливитаминами «Сквибб», зубной эликсир «Астрингосол». Я осторожно брал каждый предмет, разглядывал этикетки и даже открутил крышку лосьона «Ройял лайм» и вдохнул густой аромат лимона – обследование медицинского шкафчика, занявшее около полутора минут, принесло мне немалое удовлетворение. После чего я закрыл дверцу и вернулся к письменному столу.

Я сел на стул, поднял взгляд и, посмотрев в окно, вдруг понял, что повлияло на мое подсознание и потянуло меня сюда. Вид на парк был такой мирный и приятный, а отсюда был виден так называемый Уголок отдыха. Здесь, на краю парка, старые платаны и клены затеняли аллеи, и солнце, пятнами освещая чуть покатую лужайку Уголка отдыха, придавало всей картине безмятежно-пасторальный вид. Парк являл собою разительный контраст с другими частями этого района. Всего в нескольких кварталах отсюда транспорт мчался по Флэтбуш-авеню, сугубо городскому проспекту, гудящему от какофонии звуков, запруженному, кишащему людьми с издерганными нервами и душами, а здесь – зелень деревьев и чуть призрачный, насыщенный пыльцою свет, изредка проносящиеся грузовики и автомобили, неспешный шаг немногочисленных посетителей, прогуливающихся на краю парка, – все создавало впечатление, что ты находишься в глухом уголке скромного южного города, быть может, Ричмонда, или Чаттануги, или Колумбии. Я ощутил острый прилив тоски по дому и вдруг подумал: «Что, ради всего святого, я тут делаю на этой невообразимой окраине Бруклина, зачем я – никчемный и сластолюбивый кальвинист – поселился среди всех этих евреев?»

Эта мысль побудила меня вытащить из кармана листок бумаги. На нем были написаны фамилии шести остальных жильцов дома. Каждая фамилия значилась на маленькой карточке, которую любящая порядок Етта пришпиливала к соответствующей двери, и накануне поздно вечером я без всякого иного побуждения, кроме моего обычного неуемного любопытства, прошелся на цыпочках по этажам и переписал фамилии. Пятеро жильцов жили этажом выше, еще один жил через холл от меня. Натан Ландау, Лиллиан Гроссмен, Моррис

Финк, Софи Завистовская, Астрид Уайнстайн, Мойше Маскатблит. Мне понравились эти фамилии хотя бы своим разнообразием, показавшимся поистине чудесным после Каннингэмов и Брэдшоу, среди которых я вырос. Фамилия Маскатблит пришлась мне по вкусу своим византийским душком. Интересно, когда я познакомлюсь с Ландау и Финком? Три женских имени возбудили во мне живейший интерес, особенно Астрид Уайнстайн, которая жила в пленительной близости от меня – через холл. Я размышлял над всем этим, как вдруг из комнаты над головой в мое сознание проник шум возни, столь мгновенно и мучительно узнаваемой, столь ясной для моего страждущего уха, что я не стану, как поступил бы в другие времена, когда было принято выражаться иносказательно, намекать и ходить вокруг да около, а позволю себе прямо сказать, что до меня донеслись звуки, вскрики, хриплое дыхание двух людей, совокуплявшихся как сумасшедшие, точно дикие звери.

Я с тревогой посмотрел на потолок. Лампа дергалась и плясала, словно марионетка на веревочке. Розоватая пыль сыпалась со штукатурки, и я так и ждал, что четыре ножки кровати продырявят потолок. Это было нечто страшное – не просто обряд совокупления, а турнир, схватка, свалка, состязание на Розовый кубок, языческое пиршество. Слова произносились на английском, но искаженном, с экзотическим акцентом – впрочем, мне не было нужды разбирать слова. Это было импрессионистическое нечто. Голоса – мужской и женский, ликующее двуголосье; слова, каких я в жизни не слыхал. Да я никогда еще не внимал таким наставлениям: стой, а теперь сильнее, быстрее, глубже; не слышал такого ликования по поводу достигнутого; таких стонов отчаяния по поводу недобранных ярдов; таких призывов и советов, куда послать мяч. И все это так отчетливо, как если бы я надел специальные наушники. Отчетливо и героически долго. Казалось, бесконечно долго длилась борьба, а я сидел и вздыхал, пока все вдруг не прекратилось и участники состязания не разошлись в буквальном смысле по своим ванным комнатам. Плеск воды и хихиканье просачивались сквозь тонкий потолок, затем шлепанье ног по полу, еще хихиканье, смачный звук игривого удара по голому заду и, наконец, совсем не к месту, – дивное, медленное, сладостное биение сердца Четвертой симфонии Бетховена, поставленной на патефон. Обезумев от всего этого, я подошел к шкафчику с лекарствами и достал таблетку «алка-зелцер».

Вскоре после того, как я снова уселся за стол, я понял, что теперь над моей головой идет горячий спор. Мрачные бурные страсти разгорелись с поразительной быстротой. Из-за какого-то каприза акустики я не мог разобрать слов. Как и во время только что закончившегося марафона во славу Венеры, звуки действий долетали до меня во всех своих причудливых подробностях, а

речь оставалась приглушенной и неясной, так что я понял: кто-то там раздраженно шагает, нетерпеливо двигает стульями, хлопает дверьми, звучали пронзительные от ярости голоса, но слова до меня доносились далеко не все. Преобладал мужской голос – хриплый раздраженный баритон, почти заглушавший прозрачные звуки Бетховена. Женский голос по контрасту звучал жалобно, как бы обороняясь; минутами в нем, словно от страха, появлялись пронзительные ноты, но в целом тон был покорный, с оттенком мольбы. Внезапно стакан или какой-то фарфоровый предмет – пепельница, бокал, не знаю что, – ударился о стену и рассыпался на кусочки; я услышал тяжелые мужские шаги в направлении двери, и она распахнулась в верхнем холле. Затем с треском захлопнулась, и я услышал, как мужчина протопал в другую комнату второго этажа. Наконец в комнате, где последние двадцать минут царила такая возня, установилась относительная тишина, из глубин которой до меня долетало лишь нежное стенающее адажио, с легким шипом воспроизводимое патефоном, и прерывистые рыдания женщины на кровати надо мной.

Я был всегда разборчивым, но не прожорливым едоком и никогда не завтракал. К тому же я привык поздно вставать и предвкушать радости раннего обеда. Когда шум наверху утих, я увидел, что уже перевалило за полдень, и одновременно почувствовал, что сцена совокупления с последующим битьем посуды почему-то возбудила во мне невероятный голод, словно я сам принимал участие в том, что там происходило. От голода у меня рот наполнился слюной и голова слегка закружилась. Кроме растворимого кофе и пива, в моем шкафу и крошечном холодильнике не было пока ничего, так что я решил пообедать вне дома. Гуляя по окрестностям, я заприметил один еврейский ресторанчик – заведение Херцля на Черч-авеню. Мне захотелось пойти туда, потому что я никогда еще не пробовал настоящей – так сказать, echt – еврейской кухни, ну и потому, что «раз уж ты поселился на Флэтбуше…» – сказал я себе. Я мог бы, конечно, не утруждать себя такими размышлениями, поскольку была суббота и ресторанчик был закрыт; тогда я направился в другой, по всей видимости, неправоверный ресторан под названием «У Сэмми», расположенный дальше по той же авеню, где я заказал куриный бульон с мацой, фаршированную рыбу и рубленую печенку – блюда, застрявшие у меня в памяти, так как я много читал о евреях, – столь бесконечно наглому официанту, что мне показалось, будто передо мной актер, играющий роль. (Тогда я еще не знал, что мрачность у официантов-евреев является чуть ли не определяющей чертой.) Впрочем, меня это не особо волновало. Ресторан был забит людьми, преимущественно немолодыми, которые ели свой борщ и жевали пирожки с картофелем; в сыром, пропитанном запахами кухни воздухе стоял галдеж: все говорили на идиш –

языке с бездонно-глубокими гортанными звуками, словно старики полоскали обмякшие мускулы гортани жирным куриным бульоном.

Я был почему-то счастлив и чувствовал себя вполне в своей стихии. «Наслаждайся, наслаждайся, Язвина», – сказал я себе. Подобно большинству южан определенного происхождения, воспитания и впечатлительности, я с самого начала тепло относился к евреям – моей первой любовью была Мириам Букбайндер, дочь местного торговца, в чьих красивых, с поволокой глазах уже в шестилетнем возрасте таилась безутешная, во многом непостижимая тайна ее расы; а позднее я преисполнился еще большей симпатии к еврейскому народу, что, я убежден, особенно характерно для тех южан, которые на протяжении многих лет сталкиваются со страданиями Авраама, и грандиозным подвигом Моисея, и скорбными осаннами псалмов, и апокалипсическими видениями Даниила, и прочими откровениями, горько-сладкими сказочками, вымыслами и ошеломляющими ужасами протестантско-еврейской Библии. Вдобавок утверждение, что евреи обнаружили сродство душ с белыми южанами, потому что у южан тоже был жертвенный агнец, только черный, стало уже банальностью. Так или иначе, обедая тогда «У Сэмми», я положительно наслаждался моим новым окружением и без особого удивления вдруг понял, что подсознательное стремление жить среди евреев было одной из причин моего переселения в Бруклин. Словом, я оказался в самом сердце еврейской общины – несомненно, в не меньшей мере, чем если бы поселился в Тель-Авиве. Я даже признался себе, выходя из ресторанчика, что мне понравилось их сладкое вино «Манишевиц», которое, вообще-то говоря, совсем не подходило к фаршированной рыбе, а своей близостью к сиропу скорее напоминало ягодное вино, которое я мальчишкой пивал в Виргинии.

Шагая назад, к дому Етты, я снова не без досады вспомнил о том, что происходило в комнате надо мной. Моя озабоченность этим обстоятельством объяснялась в значительной мере эгоистическими соображениями, ибо я понимал, что, если это будет происходить слишком часто, я лишусь и покоя, и сна. К тому же меня озадачивала странная последовательность событий – двое физически сильных людей явно остро и весело наслаждались любовью, а потом, без всякого перехода, вспыхнули ярость, слезы и раздражение. Не давала мне покоя и мысль о том, кто же кого обижал. Меня бесило, что я попал в положение похотливого свидетеля и познакомился с жильцами дома не обычным путем, когда говорят «Привет!» и обмениваются рукопожатием, а подслушивая порнографическую сценку между двумя незнакомыми мне людьми, которых я даже никогда не видел. Хотя, поселившись в метрополии, я всячески расцвечивал мою жизнь воображением, я не из тех, кто интересуется чужими

делами, но то, что эти двое любовников находились совсем рядом со мной – в конце концов, они ведь чуть не свалились мне на голову, – побуждало меня выяснить, кто они, и притом как можно быстрее.

Моя проблема была почти тотчас решена: я наконец увидел в нижнем холле одного из жильцов Етты, просматривающего почту, которую почтальон оставлял на столе у входа. Это был молодой человек лет двадцати восьми, рыхлый, с покатыми плечами, всей фигурой напоминавший яйцо, с круто вьющимися красновато-рыжими волосами и нелюбезной резкостью манер, свойственной ньюйоркцам. Вначале, когда я только поселился в этом городе, поведение его обитателей казалось мне столь беспричинно враждебным, что несколько раз я готов был ударить наотмашь, пока наконец не понял, что это нечто вроде жесткого панциря броненосца, которым накрывает себя городской житель. Я вежливо представился: «Меня зовут Стинго»; сосед продолжал перебирать почту, и в ответ на мои старания завязать знакомство я слышал лишь стесненное аденоидами дыхание. Я почувствовал, как кровь прилила у меня к затылку, губы помертвели, я повернулся на каблуках и направился было к себе в комнату.

Тут я услышал:

– Это не вам?

Обернувшись, я увидел, что он держит письмо. По почерку я понял, что это от отца.

– Благодарю, – в ярости буркнул я и выхватил у него письмо.

– Вы не могли бы дать мне потом марку? – попросил он. – Я собираю марки, посвященные памятным датам.

Он попытался изобразить нечто вроде ухмылки – осклабился не широко, но вполне по-человечески. Я что-то промычал и взглядом показал, что, наверное, дам.

– Я Финк, – сказал он. – Моррис Финк. В общем, приглядываю за домом, особенно когда Етта уезжает, как вот на этот уик-энд. Отправилась к дочке в Канарси. – Он кивнул в сторону моей двери. – Я вижу, вы поселились в воронке.

– Воронке? – переспросил я.

– Я съехал оттуда неделю назад. Потому вас там и поселили, что я съехал. А «воронкой» я ее прозвал потому, что живешь там, точно в воронке от бомбы – такое они вытворяют у себя наверху.

Внезапно между мною и Моррисом протянулась ниточка, и напряжение сразу спало – во мне вспыхнуло желание расспросить его.

– И как только, ради всего святого, вы это терпели? Скажите, кстати, кто, черт бы их побрал, эти люди?

– Если попросить их передвинуть кровать, тогда еще жить можно. Они передвигают ее к стенке – и почти ничего не слышно. Кровать тогда получается над ванной. Я просил их об этом. Вернее, его. Заставил-таки передвинуть кровать, хоть это и ее комната. Настоял-таки. Я сказал, Етта вышвырнет их обоих, если он не переставит, так что под конец он согласился. А сейчас он, видно, передвинул ее назад, к окну. Он что-то говорил, что там-де прохладнее. – Финк замолчал и взял предложенную мною сигарету. – Что вам надо сделать – так это попросить его снова переставить кровать к стене.

– Не могу я, – перебил я, – просто не могу явиться к человеку, незнакомому и сказать… ну, вы сами знаете, что я должен ему сказать. Это было бы ужасно неудобно. Я просто не смогу. А как хоть их зовут?

– Хотите, я ему скажу, – заявил Моррис с уверенным видом, который мне понравился. – Я таки заставлю его это сделать. Етта терпеть не может, когда люди досаждают друг другу. Этот Ландау – странный тип, что да, так да, и мне, может, придется с ним повозиться, но кровать он таки передвинет, не волнуйтесь. Не захочет он, чтобы его вышвырнули отсюда.

Значит, это Натан Ландау, который стоит первым в моем списке, поднимал весь этот шум. А кто же его партнерша во грехе и сумятице?

– А девчонка? – осведомился я. – Мисс Гроссмен?

– Нет. Гроссмен – жирная свинья. А эта шлюха – полька Софи. Софи Зэ, как я ее зову. Фамилия такая, что и не выговоришь. Но эта Софи – лакомая штучка.

Меня вдруг снова поразила царившая в доме тишина – тем летом мне не раз все здесь казалось каким-то призрачным, словно я находился далеко от городских улиц, в уединении, в изоляции, чуть ли не в сельской местности. В парке через дорогу перекликались дети, и я услышал, как медленно проехала машина – прошуршала безобидно, не спеша. Я просто не мог поверить, что живу в Бруклине.

– А где все? – спросил я.

– Вот что – дайте-ка я сейчас вам кое-что расскажу, – сказал Моррис. – Кроме, пожалуй, как у Натана, ни у кого в этой дыре денег нет ни на что. К примеру, чтобы съездить в Нью-Йорк и потанцевать в «Радужном» или в каком другом модном месте. Но в субботу вечером все отсюда выметаются. Все куда-нибудь едут. К примеру, эта свинья Гроссмен – ух, ну и ента[37 - Халда (идиш).]! – так вот Гроссмен отправляется к своей мамочке в Излип. Так же и Астрид. Это я про Астрид Уайнстайн – она живет вон там, через холл от вас. Она тоже, как Гроссмен, работает в Окружной больнице Кингса, только это – не свинья. Славненькая малышка, но сногсшибательной, в общем, не назовешь. Некрасивая. Одно слово – сучка. Но не свинья.

Мне стало кисло.

– И она тоже ездит к матери? – без особого интереса спросил я.

– Угу, ездит к матери, только в Нью-Йорк. Я в общем-то вижу, вы не еврей, так что я сейчас кое-что расскажу вам про еврейский народ. Евреи – они очень часто ездят к своим мамам. Это у них в крови.

– Понятно, – сказал я. – Ну а остальные? Те куда разбежались?

– Маскатблит – вы его увидите, он такой большой и толстый, учится на раввина, – так вот Мойше ездит к маме и к папе, они живут где-то в Джерси. Только путешествовать в субботу ему ведь нельзя, так что он выезжает отсюда в пятницу вечером. Он большой любитель кино и по воскресеньям смотрит в Нью-Йорке по четыре-пять картин. А потом поздно вечером возвращается сюда,

полуослепший от всех этих фильмов.

– Ну а… Софи и Натан? Они куда ездят? И кстати, чем они занимаются, кроме… – Я чуть не выпалил напрашивавшуюся остроту, но придержал язык, чего Моррис в любом случае не заметил, так как, будучи человеком болтливым, свободно выплескивавшим любую информацию, предвидел мой вопрос и был счастлив просветить меня.

– Натан – он образованный, биолог. Работает в лаборатории, недалеко от Управления нашего округа, – там они занимаются медициной, изготовляют лекарства и все такое прочее. А Софи Зэ – не знаю, чем она в точности занимается. Я слышал, она что-то вроде регистратора у польского доктора, у которого много клиентов-поляков. Само собой, по-польски она говорит, как прирожденная полька. А вообще Натан и Софи – заядлые пляжники. Когда погода хорошая, как вот сейчас, они едут ни Кони-Айленд, иной раз – на пляж Джонса. А потом возвращаются сюда. – Он помолчал и этак похотливо посмотрел на меня. – Возвращаются сюда – и ну наяривать, а потом – ну ссориться. Ух и ссорятся же они! А потом отправляются куда-нибудь ужинать. Очень любят хорошо поесть. Этот Натан – он хорошо зарабатывает, но человек он странный, в самом деле странный. По-настоящему. Я так считаю, надо бы ему показаться психиатру.

Зазвонил телефон, но Моррис не подошел к нему. Это был настенный телефон-автомат, и звонил он на редкость громко – я только под конец понял, что это было сделано специально, чтобы звонок слышали во всем доме.

– Я не снимаю трубки, когда никого нет, – пояснил Моррис. – Терпеть не могу этот идиотский телефон – только и знай передавай поручения. «Лиллиан дома? Это говорит ее мама. Скажите ей, что она забыла прелестный подарок, который привез ей дядя Бенни». И та-та-та, и та-та-та. Свинья. Или вот еще так: «Это говорит отец Мойше Маскатблита. Его нет дома? Передайте ему, что его двоюродного брата Макса переехал грузовик в Хаккенсэке». И та-та-та, та-та-та весь день напролет. Терпеть не могу этот телефон.

Я сказал Моррису, что мы еще увидимся, и, обменявшись с ним на прощание несколькими шуточками, ретировался в свою розовую спаленку, в ее начинавшую будоражить меня атмосферу. Сел за стол. Первая страница блокнота, по-прежнему внушавшая робость своей пустотой, зевнула мне в лицо желтоватым простором бесконечности. «Да разве я когда-нибудь смогу написать

роман?» – подумал я, жуя «Бархатную Венеру». И вскрыл письмо от отца. Я всегда с нетерпением ждал от него писем и считал, что мне повезло в жизни, раз у меня есть такой южный вариант лорда Честерфилда, такой советчик, который доставляет мне столько удовольствия своими старомодными рассуждениями о гордости и алчности, честолюбии, фанатизме, политическом трюкачестве, половых извращениях и прочих смертных грехах и опасностях. Нравоучительным тон его иной раз бывал, но никогда помпезным, никогда менторским, и я наслаждался как сложностью мыслей и чувств, изложенных в письме, так и простотою доводов; закончив чтение очередного письма, я чуть не плакал от умиления или же сгибался пополам от хохота, но почти всегда тотчас обращался к Библии и перечитывал те пассажи, откуда отец заимствовал многие каденции своей прозы и многое из своей премудрости. Однако на сей раз мое внимание прежде всего привлекла газетная вырезка, вылетевшая из сложенного письма. Заголовок заметки из виргинской газеты настолько меня поразил и ужаснул, что я судорожно глотнул и перед глазами у меня запрыгали светящиеся точки.

В газете сообщалось о самоубийстве прелестной двадцатидвухлетней девушки, в которую я был безнадежно влюблен в годы моей ранней, еще не устоявшейся юности. Звали ее Мария (что на юге рифмуется с «пария») Хант, и в пятнадцать лет я пылал к ней такой любовью, что сейчас, в ретроспекте, мне это кажется легким помешательством. Если хотите увидеть влюбленного идиота – извольте, я был типичным образчиком! Мария Хант! В 40-е годы, задолго до того, как зарделась заря нашей свободы, в нравах все еще преобладало старинное рыцарство, и пластмассовые куклы из телесериалов, вроде Джун Аллисон, казались мальчишкам полубогинями, с которыми, следуя отвратительному термину социологов, можно было в лучшем случае «щупаться до точки кипения»; я же доходил в самоумерщвлении до полного идиотизма и даже не пытался, как говорили в те дни, «приласкать» мою обожаемую Марию. Собственно, я ни разу не отважился коснуться поцелуем ее безжалостно-аппетитных губ. С другой стороны, наши отношения никак нельзя было назвать и платоническими, ибо в моем понимании это слово подразумевает определенную работу ума, а Мария развитостью не отличалась. Ко всему этому следует добавить, что наше государство состояло в ту пору из сорока восьми штатов, и Виргиния Гарри Бэрда с точки зрения уровня народного просвещения обычно занимала сорок девятое место – после Арканзаса, Миссисипи и даже Пуэрто-Рико, – таким образом, можно представить себе интеллектуальный уровень беседы двух пятнадцатилетних подростков. Никогда еще обычный разговор не зиял такими пробелами, такими долгими, не вызывающими смущения минутами задумчивого молчания. Тем не менее я страстно и

одновременно целомудренно обожал Марию – обожал по той простой причине, что красота ее способна была разбить сердце, и вот теперь я узнал, что она мертва. Мария Хант – мертва!

Вторая мировая война и мое участие в ней привели к тому, что Мария испарилась из моей жизни, но я не раз с тоскою думал о ней. Она выбросилась из окна какого-то дома, и, к моему изумлению, я обнаружил, что произошло это всего две-три недели тому назад, на Манхэттене. Позднее я узнал, что она жила совсем рядом со мной, на Шестой авеню. Вот к чему приводит нечеловеческая огромность города – мы оба не один месяц жили в Гринвич-Виллидж, совсем небольшом районе, и ни разу не встретились. Я почувствовал острую боль, что-то вроде угрызений совести, и подумал, а не смог ли бы я спасти Марию, помешать ей сделать этот страшный шаг, если бы хоть знал, что она находится в одном со мною городе и живет неподалеку. Снова и снова перечитывая заметку, я дошел до состояния, близкого к помешательству, и вдруг громко застонал от бессмысленности гибели молодого, доведенного до отчаяния существа. Почему она это сделала? Самым душераздирающим в рассказе о случившемся было то, что по каким-то сложным и туманным причинам труп не был подвергнут опознанию, Марию похоронили в общей могиле, и лишь через много недель тело было эксгумировано и отправлено для захоронения в Виргинию. Эта жуткая история перевернула мне душу, подорвала все силы – мне было так плохо, что я до конца дня оставил всякую мысль о работе и безрассудно принялся искать утешения в пиве, стоявшем у меня в холодильнике. Потом я прочел в письме отца:

Прилагая эту вырезку, сынок, я, естественно, подумал, что она тебя более чем заинтересует – я ведь помню, как ты страшно «сох» по Марии Хант лет шесть или семь тому назад. В свое время я немало потешался, вспоминая, как ты краснел, точно помидор, стоило только упомянуть ее имя; сейчас же я думаю о том времени с величайшей грустью. В подобных случаях мы подвергаем сомнению деяния нашего Господа, но тщетно: нам не дано их понять. Как ты, наверное, знаешь, Мария Хант росла в трагической семье: Мартин Хант был почти алкоголик и вечно сидел без работы, а Беатриса была слишком уж непреклонна и жестока в своих требованиях по части морали, особенно, как мне говорили, в отношении Марии. Одно вроде бы можно твердо сказать: в этом печальном доме было немало неискупленной вины и ненависти. Я знаю, весть о смерти Марии глубоко затронет тебя. Мария, помнится, была настоящая красавица, потому ее особенно жалко. Утешься хотя бы тем, что такая красота

пусть недолго, но все же была с нами…

* * *

Я размышлял о Марии весь день, пока под деревьями парка не легли длинные тени и детишки не разбежались по домам, а дорожки, бороздящие Уголок отдыха, не опустели. Под конец меня совсем разморило от пива, во рту было горько и сухо от сигарет, я повалился на кровать. Вскоре я забылся глубоким сном, больше обычного наполненным сновидениями. Одно сновидение захватило меня и чуть не прикончило. После нескольких бессмысленных нелепиц, жуткого, но недолгого кошмара и искусно построенной одноактной пьесы передо мной возникла эротическая галлюцинация невиданной силы. На залитом солнцем, мирном лугу Тайдуотера, в уединенном месте, окруженном раскидистыми дубами, передо мной стояла моя покойная Мария и с разухабистостью проститутки раздевалась донага – это она-то, которая в моем присутствии ни разу не позволила себе снять даже носки. Голая, налитая как персик, разметав по молочно-белым грудям каштановые локоны, она подошла ко мне, несказанно желанная, – а я лежал, вытянувшись как кинжал, – и взмолилась откровенно сладострастно и похотливо. «Язвинка, – прошептала она. – Ох, Язвинка, возьми меня!» Кожа ее покрылась тонким налетом пота, крошечные капельки заблестели на черных волосах ее треугольника. Она изогнулась надо мной, нимфа с влажными приоткрытыми губами, и, склонившись над моим голым животом, шепча потрясающие сквернословия, приготовилась коснуться нецелованными мною губами закостеневшего в своей застылости стержня моей страсти. Тут пленка застряла в аппарате. Я проснулся в полном отчаянии – открыв глаза, я увидел розовый потолок, исполосованный тенями наступающей ночи, и первобытный рык – скорее даже вой – вырвался из самых глубин моей души.

Но в эту минуту в мое распятое тело был вбит еще один гвоздь: наверху они снова взялись за свое на этом растреклятом матрасе.

– Прекратите! – рявкнул я, обращаясь к потолку, и пальцами зажал уши. «Софи и Натан! – подумал я. – Чертовы еврейские кролики!» Они, видимо, ненадолго устроили передышку, но, когда я снова прислушался, все продолжалось в прежнем стиле – только в этой чехарде не было ничего бурного, спортивного, ни вскриков, ни арий, лишь пружины пристойно и ритмично позвякивали, лаконично, размеренно, чуть ли не по-старчески. Но мне было безразлично,

замедлили они темп или нет. Я поспешил выйти – буквально выскочил в сумерки и, точно безумный, принялся мерить шагами парк. Постепенно я сбавил темп, погрузившись в размышления. Прохаживаясь под деревьями, я стал всерьез подумывать, не совершил ли я большой ошибки, поселившись в Бруклине. Я ведь оказался здесь совсем не в своей среде. Что-то было не то – что-то неуловимое и необъяснимое, и, приди мне тогда на ум выражение, распространившееся несколько лет спустя, я мог бы сказать, что от дома Етты исходили неблагоприятные флюиды. Я все еще находился под впечатлением того безжалостного, сладострастного сна. По самой своей природе сны, конечно, таковы, что их трудно запомнить, но некоторые на всю жизнь запечатлеваются в памяти. Больше всего мне запоминались сны, связанные либо с сексом, либо со смертью, – сны настолько реалистичные, что это граничило с чем-то метафизическим. Таким был и сон о Марии Хант. Ни одно видение не оставило во мне подобного следа, если не считать сна, который я увидел почти восемь лет тому назад, вскоре после похорон матери: выбираясь из илистых глубин кошмара, я тогда подошел во сне к окну моей комнаты в нашем доме и, выглянув из него, увидел внизу, в мокром, пронизанном ветром саду, открытый гроб и на атласной подушке высохшее, испитое раком лицо матери – она повернулась и обратила ко мне молящий, затуманенный неописуемою мукой взгляд.

Я свернул назад, к дому. Подумал: пойду сяду и отвечу на письмо отца. Мне хотелось попросить его написать мне подробнее об обстоятельствах смерти Марии – по всей вероятности, в тот момент я еще на понимал, что подсознательно уже начал закручивать вокруг этой смерти роман, который так печально не желал разгораться на моем письменном столе. Но в тот вечер письма я не написал. Потому что по возвращении я впервые встретил Софи во плоти и если не мгновенно, то быстро и безоглядно влюбился в нее. Это была любовь, которая, как мне с каждым днем уходящего лета становилось все яснее, предъявляла – по многим причинам – все большие права на мое существование. Однако должен признаться, это чувство зародилось во мне, безусловно, потому, что Софи хоть и отдаленно, но в самом деле напоминала Марию Хант. Когда я впервые мимоходом увидел Софи, в моей памяти запечатлелось не только прелестное сходство ее с умершей, но и отчаяние, каким наверняка было отмечено и лицо Марии, вместе с горестной тенью предчувствия смерти, к которой очертя голову движется человек.

А тогда Софи и Натан отчаянно ссорились в холле, около двери в мою комнату. Я отчетливо услышал их голоса в летней ночи, а поднявшись по ступенькам крыльца, увидел их.

– Нечего мне вкручивать, поняла! – орал он. – Ты врешь! Жалкая лживая шлюха, ты меня слышишь? Вот ты кто! Шлюха!

– Ты сам есть такой, – услышал я ее ответ. – Да, ты шлюха, так я считаю! – Она произнесла это совсем не агрессивно.

– Я не шлюха, – рявкнул он. – Я не могу быть шлюхой, польская ты тупица. Когда ты научишься правильно говорить! Я могу быть сутенером, но не шлюхой, кретинка ты этакая. Никогда не смей меня больше так называть, слышишь? Впрочем, такого случая у тебя больше не будет.

– Но ты же назвал меня так!

– Потому что ты и есть такая, ты, кретинка, лживая шлюха, перевертыш! Раскладывалась для этой дешевки, этого шарлатана, так называемого «доктора». О бог ты мой! – взревел он, и голос его зазвенел дикой, неуемной яростью. – Да отпусти ты меня, пока я тебя не прикончил… ты, проститутка! Родилась проституткой и сдохнешь проституткой!

– Натан, послушай… – донеслась до меня ее мольба.

Теперь, подойдя к входной двери, я отчетливо увидел их: они стояли совсем близко друг к другу, темным силуэтом выделяясь на фоне розового холла, где свисавшая с потолка лампочка в сорок ватт, еле заметная в туче кишащей мошкары, отбрасывала дрожащие светотени. В этой паре господствовал, выделяясь ростом и силой, Натан; широкоплечий, могучего телосложения, с копною черных, как у индейцев-сиу, волос, он походил на более стройного, более неистового Джона Гарфилда, с таким же, как у Гарфилда, красивым, порочно-приятным лицом – мне бы следовало сказать: теоретически приятным, так как сейчас его лицо, потемневшее от гнева и ярости, искаженное явной жаждой насилия, было каким угодно, только не приятным. Он был в тонком свитере и летних брюках, и было ему лет под тридцать. Он крепко держал Софи за руку выше локтя, а она вся съежилась, словно розовый бутон под порывом бури. При слабом свете я едва мог различить Софи. Я видел лишь растрепанную

гриву льняных волос и около трети ее лица, перекрытого плечом Натана. Испуганно поднятую бровь, маленькую родинку, карий глаз и широкую, прелестную, по-славянски выпуклую скулу, по которой, будто капелька ртути, катилась одинокая слеза. Она принялась всхлипывать, словно брошенный ребенок.

– Натан, ты должен слушать, пожалуйста, – произнесла она, всхлипывая. – Натан! Натан! Натан! Прости, что я так тебя назвала.

Он резко отшвырнул от себя ее руку и отступил.

– Ты мне бес-ко-неч-но противна, – выкрикнул он. – Поистине не-поддель-но отвратительна. Я сматываюсь отсюда, не то я прикончу тебя! – И он круто повернулся к ней спиной.

– Натан, не уходи! – в отчаянии взмолилась она и протянула к нему руки. – Ты нужен мне, Натан. И я нужна тебе. – Голос ее звучал по-детски жалобно, тоненький, почти хрупкий, надламывающийся в верхнем регистре и слегка хрипевший в нижнем. Польский акцент делал ее речь прелестной, вернее, подумал я, сделал бы при более нормальных обстоятельствах. – Пожалуйста, не уходи, Натан, – закричала она. – Мы нужны друг другу. Не уходи!

– Нужны? – повторил он, оборачиваясь к ней. – Мне нужна ты? Я тебе вот что скажу… – И он затряс перед ней вытянутой рукой, голос его звучал все яростнее, все возмущеннее. – …да ты мне так же нужна, как чертова неизлечимая зараза. Ты нужна мне, как чума, слышишь? Как трихинеллез! Ты нужна мне, как камень в печени. Как пеллагра! Как энцефалит! Как болезнь Брайта, если уж на то пошло! Как карцинома в этом чертовом мозгу, ты, чертова несчастная шлюха! Аааоо-о-о! – Последнее было дрожащим, непрерывно повышающимся стоном, звуком, от которого мурашки побежали по спине, ярость и плач смешивались в нем в своеобразную литургию, словно некий обезумевший раввин оплакивал покойника. – Ты нужна мне, как смерть, – задыхаясь, бушевал он. – Как смерть!

И снова он отвернулся от нее, и снова она взмолилась, рыдая:

– Пожалуйста, не уходи, Натан! – И затем: – Натан, куда ты?

А он уже был у входной двери, всего в каких-нибудь двух футах от меня; я в нерешительности стоял на пороге, не зная, проскочить ли к себе в комнату или повернуться и бежать.

– Куда? – выкрикнул он. – Я сейчас тебе скажу, куда я иду – я иду в метро, сажусь на первый же поезд и еду в Форест-Хиллз! Возьму у брата машину, вернусь сюда и погружу свои вещи. И вон отсюда! – Голос его вдруг зазвучал тише, он весь как-то подобрался, в манере держаться появилась даже небрежность, но тон был по-прежнему драматически угрожающий. – А потом – может быть, завтра – я тебе скажу, что я намерен делать. Я намерен сесть и написать письмо, которое я отправлю заказным в Иммиграционную службу. Я намерен сообщить им, что они выдали тебе не ту визу. Я намерен сообщить им, что они должны выдать тебе визу для проститутки, если такая у них есть. А если нет, я скажу им, чтоб они отправили тебя назад, в Польшу, чтобы тебе неповадно было раскладываться в Бруклине перед первым встречным врачишкой, которому приспичит. Назад в Краков, детка! – Он удовлетворенно хмыкнул. – Да, детка, назад в Краков!

Затем повернулся и ринулся в раскрытую дверь. Тут он налетел на меня, перевернулся вокруг себя и замер. Трудно сказать, решил ли он, что я все слышал, или нет. Ему явно не хватало воздуха – тяжело дыша, он оглядел меня с головы до ног. Затем я почувствовал: он решил, что я все слышал, но это не имеет значения. Меня поразило то, как он повел себя, находясь в таком состоянии, – а повел он себя если не вполне любезно, то по крайней мере достаточно вежливо, словно великодушно исключив меня из круга, охваченного его яростью.

– Это вы – новый жилец, про которого мне говорил Финк? – произнес он, с трудом переводя дыхание.

Я ответил утвердительно – еле слышно и очень кратко.

– Вы с Юга, – сказал он. – Моррис говорил мне, что вы с Юга. Сказал, что зовут вас Стинго, то есть Язвина. Етте для ее коллекции чудил как раз недоставало южанина. – Он бросил на Софи сумрачный взгляд, затем снова посмотрел на меня и сказал: – Очень жаль, что не состоится у нас с вами веселенького разговорчика: я ведь сматываюсь. А было бы славно с вами поболтать. – Тут в тоне его появилось что-то слегка зловещее, наигранная любезность уступила место такому откровенному сарказму, какого я давно не слыхал. – Мы бы

здорово с вами развлеклись, пошвыряли бы друг в друга дерьмом, вы и я. Могли бы поговорить о спорте. Я имею в виду – спорт у вас на Юге. К примеру, о линчевании негров – или опоссумов, по-моему, вы их так зовете. Или о культуре. Могли бы поговорить о южной культуре и, может, посидели бы у старушки Етты и послушали пластинки с песнями сельской глуши. Ну, вы знаете: Джин Отри, Рой Экафф и прочие носители классической южной культуры. – Все это он произнес насупясь, затем улыбка вдруг прорезала его смуглое искаженное лицо, и не успел я опомниться, как он уже крепко стиснул мою руку, которую я вовсе не собирался ему подавать. – Ну, что поделаешь, так могло бы быть. Очень жаль. Старине Натану пора в путь. Может, в другой жизни, Голодранец, мы еще и посидим вместе. Привет, Голодранец! До встречи в другой жизни.

И я еще губы не успел разжать, чтобы выразить протест, или дать Натану отповедь, или отлаять, как он повернулся и прогрохотал вниз по ступенькам крыльца – демоническое клак-клак-клак его кожаных каблуков, удаляясь в направлении метро, постепенно затихало, пока не угасло совсем под подернутыми сумраком деревьями.

Незначительные катаклизмы – автомобильная авария, застрявший лифт, бандитское нападение в присутствии свидетелей – вызывают повышенную жажду общения между незнакомыми людьми – это явление всем известное. После того как Натан исчез в ночи, я без колебаний подошел к Софи. Я понятия не имел, что ей скажу – наверное, как-то неуклюже попытаюсь утешить, – но она заговорила первой, не отнимая рук от залитого слезами лица.

– Это есть так несправедливо! – рыдала она. – Ох, я же так его люблю!

Я поступил, как часто поступают в фильмах, когда трудно поддерживать разговор. Вытащил из кармана платок и молча протянул Софи. Она охотно взяла его и стала вытирать глаза.

– Ох, я же столько много его люблю! – воскликнула она. – Столько много! Столько много! Я умру без него.

– Что вы, что вы! – произнес я или что-то в этом роде, не менее глупое.

Глаза ее молили меня – меня, которого она впервые видела, – с отчаянием ни в чем не повинного человека, пытающегося доказать в суде свою правоту. «Я не

шлюха, ваша честь», – казалось, хотела она сказать. Я был потрясен и ее искренностью, и силой чувства.

– Это есть так несправедливо, – повторила она. – Сказать такое! Он же единственный, с кем я спала, только еще мой муж. А мой муж – он умер!

И снова рыдания сотрясли ее, и снова полились слезы, так что мой носовой платок превратился в маленькую мокрую губку с монограммой. Нос у Софи распух, и необыкновенную ее красоту портили красные пятна от слез, тем не менее красота эта (включая родинку, удачно поставленную судьбой возле левого глаза, точно крошечный сателлит) мгновенно захлестнула меня – мне казалось, что я весь таю, превращаюсь в жидкость, и шло это не от сердца, а, как ни странно, из живота, который вдруг заурчал, словно протестуя против длительного поста. Во мне возникло до одурения сильное желание обнять ее, успокоить, но скопище самых разнородных предрассудков удерживало меня. А кроме того, я был бы лжецом, если бы не признался, что, помимо всего прочего, в моем мозгу быстро созрел сугубо эгоистический замысел: мне уже виделось, как с Божьей помощью – если Господь пошлет мне счастье и силы – я подберу это златокудрое сокровище там, где Натан, неблагодарная свинья, бросил его.

Тут по пояснице у меня пробежали мурашки, и я понял, что Натан снова стоит позади нас, на ступеньках крыльца. Я резко обернулся. Он умудрился подойти фантастически тихо и теперь, злобно сверкая глазами, упершись вытянутой рукою в дверной косяк, смотрел на нас.

– И последнее, – сказал он Софи ровным, жестким тоном. – Еще одно, шлюха. Пластинки. Альбомы с пластинками. Бетховен. Гендель. Моцарт. Все. Но чтоб глаза мои больше тебя не видели. Так что вынеси пластинки… вынеси пластинки из твоей комнаты и положи в мою, на стул у двери. Брамса можешь оставить себе – только потому, что Блэксток подарил тебе эту пластинку. Можешь оставить, поняла? А остальные я хочу иметь, так что будь любезна положить их, куда я сказал. Если не положишь, когда я вернусь за вещами, я переломаю тебе руки – обе. – Помолчал, глубоко втянул в себя воздух и шепотом выговорил: – Клянусь Богом, переломаю обе твои чертовы руки!

На этот раз он уже действительно ушел, широко, враскачку шагая по тротуару, и быстро исчез в темноте.

Слез у Софи больше не было, и она постепенно взяла себя в руки.

– Спасибо, вы такой добрый, – тихо сказала она мне хрипловато-гнусавым, точно от простуды, голосом человека, который долго и усердно плакал. Она протянула руку и сунула мне в ладонь носовой платок – мокрый шарик. В этот момент я впервые увидел номер, выжженный на загорелой, с легким налетом веснушек коже ее руки, между локтем и кистью, – багровый номер из по крайней мере пяти цифр, слишком мелких, чтобы можно было разобрать при таком свете, но отпечатанных – это я понял – четко и умело. К любви, растекавшейся по моему нутру, внезапно добавилась боль, и в невольном порыве, который совершенно невозможно объяснить (со стороны человека, приученного думать, где он держит руки), я мягко взял ее за запястье и внимательнее вгляделся в татуировку. В ту же минуту я понял, что мое любопытство может быть сочтено оскорбительным, но я ничего не мог с собой поделать.

– Где вы были? – спросил я.

Она произнесла замысловатое название по-польски, которое я с трудом разобрал:

– Освенцим. – Потом сказала: – Я там долго была. Longtemps. – Помолчала. – Vous voyez…[38 - Видите ли… (фр.)]– Снова пауза. – Вы говорите по-французски? – спросила она. – Мой английский очень плохой.

– Un peu[39 - Немного (фр.).], – ответил я, намного завышая свои возможности. – Не совсем гладко. – Что означало: почти не говорю.

– Не гладко? Что есть – не гладко?

– Sale[40 - Грязно (фр.). Здесь: скверно.], – наобум ответил я.

– Грязный французский? – сказала она со слабым намеком на улыбку. И, помедлив, спросила: – Sprechen Sie Deutsch?[41 - Вы говорите по-немецки? (нем.)]

На что я не мог извлечь из себя даже «nein»[42 - Нет (нем.).].

– Ах, да не старайтесь вы так! – сказал я. – Вы же хорошо говорите по-английски. – И, помолчав немного, добавил: – А этот Натан! В жизни не встречал такого человека. Я знаю, это не мое дело, но… но он, должно быть, ncux! Как можно так говорить с кем бы то ни было! Хотите знать мое мнение: хорошо, что вы от него избавились.

Она крепко зажмурилась и в болезненной гримасе сжала губы, словно вспомнив о том, чему я только что был свидетелем.

– О, он так много прав, – прошептала она. – Не про то, что я ему изменяла. Я не про это. Я никогда ему не изменяла. А вот другое. Когда он сказал, что я не так одеваюсь. Или когда сказал, что я полька-неряха, не убираю за собой. Он тогда называл меня – грязная полька, и я знаю, что я… да, я это заслужила. Или когда он меня водил в красивые рестораны, а я оставлялась… – Она вопросительно взглянула на меня.

– Оставляла, – сказал я. Отныне, не пережимая, я буду время от времени воспроизводить прелестные неточности, которые Софи допускала в английском. Она, бесспорно, вполне владела языком, что – во всяком случае, в моем представлении – лишь подтверждалось, когда она спотыкалась о пни наших мерзких неправильных глаголов, запутавшись в чащобе синтаксиса. – Что оставляла? – спросил я.

– Оставляла себе la carte, то есть меню. Я так часто оставляла себе меню, клала в сумочку, как есть сувенир. Он говорил, что меню стоит деньги, что я ворую. Знаете, он был прав.

– Ей-богу, взять меню не кажется мне таким уж великим воровством, – сказал я. – Послушайте, опять-таки я понимаю, что это не мое дело, но…

Она явно решила не дать мне возможности помочь ей восстановить чувство собственного достоинства и, прервав меня, сказала:

– Нет, я знаю, это было нехорошо. Он правильно говорил: я столько много делаю нехорошего. Я это заслужила, что он бросил меня. Но я никогда ему не изменяла. Никогда! Ох, я просто умру теперь без него! Что мне делать? Что мне делать?

На секунду я испугался, что она сейчас поддастся новой вспышке горя, но она лишь хрипло, судорожно всхлипнула, словно поставила последнюю точку, и отвернулась от меня.

– Вы добрый, – сказала она. – А теперь я пойду к себе.

Она медленно пошла по лестнице наверх, а я неотрывно смотрел на ее фигуру, обтянутую шелковым летним платьицем. Хотя у нее было красивое тело и все округлости, изгибы и линии располагались симметрично, как надо, что-то в ней было не так, а ведь на взгляд – никаких изъянов, все ладно пригнано. И я понял: вот где зарыта собака. Необычное проглядывало в ее коже. Она отличалась болезненной дряблостью (особенно это было заметно с внутренней стороны рук) – как у людей, переживших сильное истощение и еще не вернувших себе прежний облик. Кроме того, я чувствовал, что под здоровым загаром таится бледность не вполне оправившегося после страшной болезни человека. Но все это отнюдь не уменьшало поразительного налета сексуальности, которую, по крайней мере в тот момент, она источала, небрежно и одновременно нарочито двигая бедрами и своим поистине роскошным задом. Несмотря на пережитый голод, зад ее походил на фантастическую, безупречной формы грушу, премированную на выставке; он так зазывно колыхался и, обозреваемый под таким углом, настолько взволновал меня, что я мысленно пообещал сиротским домам пресвитерианской церкви в Виргинии четверть моих будущих писательских доходов, если мне дано будет на краткий миг – хватило бы и тридцати секунд – подержать в моих молитвенно раскрытых ладонях его обнаженную плоть. «Язвина, старина, – размышлял я, глядя, как Софи поднимается по лестнице, – а ты, видно, человек-то порочный, если можешь вот так впиться взглядом в чью-то спину». Тут Софи, дойдя до верха лестницы, обернулась и посмотрела вниз с невероятно грустной улыбкой.

– Надеюсь, я не надоела вам моими проблемами, – сказала она. – Извините меня. – И, уже направляясь к себе в комнату, добавила: – Спокойной ночи.

После чего я сел в единственное в моей комнате удобное кресло и весь вечер читал Аристофана, наблюдая сквозь приоткрытую дверь за той частью холла, которая была мне видна. Примерно в середине вечера я увидел, как Софи направилась в комнату Натана, держа в руках альбомы с пластинками, которые он велел ей вернуть. Когда она возвращалась, я увидел, что она снова плачет. И как только она может без конца плакать? Откуда берется столько слез? Потом она снова и снова ставила пластинку с финалом Первой симфонии Брамса,

которую Натан так великодушно позволил ей оставить себе. Теперь, по всей вероятности, это была единственная ее пластинка. Весь вечер музыка Брамса струилась сквозь тонкий потолок – величественный и трагический французский рожок в сочетании с отвечавшей ему пронзительным птичьим зовом флейтой наполнял меня такой грустью и ностальгией, каких я никогда дотоле не испытывал. Я думал о том времени, когда создавалась эта музыка. Помимо всего прочего, она говорила о мирной, процветающей Европе, озаренной мягким янтарным светом прозрачных сумерек: о девочках в передничках, с косичками, катавшихся в запряженных собаками колясочках; о пикниках на полянах Венского леса и крепком баварском пиве; о дамах из Гренобля, прогуливавшихся под зонтиками по краю сверкающих ледников высоко в Альпах; о путешествиях на воздушном шаре, о веселье, о вихрях вальса, о мозельском вине, о самом Иоганнесе Брамсе, бородатом, с черной сигарой, сочинявшем эти свои титанические аккорды под облетевшими осенними буками Хофгартена. Это была неизъяснимо сладостная Европа – Европа, какой Софи, безудержно погружавшаяся надо мною в свое горе, не могла знать.

Я уже лег в постель, а музыка все звучала. И всякий раз, когда заезженная пластинка доходила до конца, я слышал, пока она переворачивалась, безутешный плач Софи и вертелся, и крутился в постели, снова и снова поражаясь, как человеческое существо может вместить в себя столько муки. Казалось бы, не мог Натан вызвать такое надрывное, такое душераздирающее горе. Но вот ведь вызвал, и это ставило передо мной определенную проблему. Чувствуя, как я уже сказал, что меня засасывает эта болезнь, эта слабость, именуемая любовью, не глупо ли было с моей стороны надеяться, что я сумею завоевать привязанность той, которая так крепко прикована к памяти о своем возлюбленном, а тем более рассчитывать, что мне удастся залезть к ней в постель? Собственно, в самой этой мысли было что-то непристойное – все равно как осаждать недавно перенесшую утрату вдову. Натан, несомненно, вышел из игры, но не слишком ли я был самонадеян, считая, что смогу заполнить вакуум? Во-первых, вспомнил я, у меня совсем мало денег. Даже если я сумею пробиться сквозь барьер, воздвигнутый горем Софи, могу ли я рассчитывать, что мне удастся завоевать эту изголодавшуюся женщину, падкую до шикарных ресторанов и дорогих пластинок?

Наконец музыка прекратилась – прекратились и всхлипывания, беспокойный скрип пружин довел до моего сведения, что Софи отправилась спать. Я же долго лежал без сна, прислушиваясь к тихим ночным звукам Бруклина: вдали взвыла собака, промчалась машина, рассмеялись женщина и мужчина на краю парка. Я думал о Виргинии, об отчем доме. И постепенно заснул, но спал я неспокойно,

отчаянно ворочаясь, а в какой-то момент проснулся в незнакомой темноте и обнаружил, что глупо сражаюсь не то со складкой, не то с рубцом, не то с загнувшимся краем смятой наволочки. Потом я снова заснул и проснулся уже перед самым рассветом, среди ночной тишины – сердце у меня отчаянно колотилось, и, весь в холодном поту, глядя в потолок, отделявший меня от спящей Софи, я вдруг понял – так ясно, как бывает только во сне, – что она обречена.

Третье

– Стинго! Эй, Стинго! – Поздним утром – было это на другой день, в солнечное июньское воскресенье – я услышал их голоса за дверью, пробудившие меня ото сна. Сначала голос Натана, потом Софи: – Стинго, проснитесь. Проснитесь, Стинго! – Дверь была хоть и не заперта, но на цепочке, и с того места на подушке, где лежала моя голова, мне видно было улыбающееся лицо Натана, смотревшего в широкую щель.

– Вставай, подымайся! – произнес голос. – Вылезай на палубу, мальчик! Вперед – и на врага! Мы едем на Кони-Айленд!

Из-за спины Натана я услышал, как Софи тоненьким голосом отчетливо повторила вслед за ним:

– Вставай, подымайся! Вперед – и на врага!

За командой последовало серебристое хихиканье, а Натан принялся трясти дверь, так что зазвенела цепочка.

– Да ну же, Голодранец, на палубу! Нельзя валяться весь день и дрыхать, точно старый пес на Юге. – В голосе его появились синтетические слащавые интонации обитателя самого глубинного Диксиленда – акцент, поразивший точностью подражания даже мое полусонное, но восприимчивое ухо. – Пошевеливай свои ленивые косточки, сладкий мой! – протянул он, будто пережевывая, как это делают южане, слова. – Натягивай купальный costume[43 - Костюм (фр.).]. Попросим старика Помпея вытащить старую развалюху-коляску,

запряжем ее четвериком и отправимся на берег мо-о-ря, на пикник!

Я – мягко выражаясь – был в не слишком большом восторге от всего этого. Оскорбления, которые Натан изрыгал накануне вечером, и то, как он вел себя с Софи, снились мне всю ночь в разных вариантах, и сейчас видеть наяву это лицо обитателя большого города середины нашего века, слышать эту пошлятину, бытовавшую до Гражданской войны, было просто выше моих сил. Я соскочил с кровати и ринулся к двери.

– Убирайтесь отсюда! – заорал я. – Оставьте меня в покое!

Я попытался захлопнуть дверь перед носом Натана, но он крепко держал ногу в щели.

– Убирайтесь! – снова выкрикнул я. – Ну и нахал же вы, черт вас подери. Выньте вашу чертову ногу из двери и оставьте меня в покое, чтоб вас черт разодрал!

– Стинго, Стинго! – успокоительно произнес голос, перейдя на бруклинский акцент. – Не надо раздражаться, Стинго. Я же не хотел вас обидеть, малыш. Да ну откройте же. Давайте выпьем вместе кофейку, и помиримся, и станем друзьями.

– Не желаю я дружить с вами! – рявкнул я.

И зашелся кашлем. С трудом прочищая дыхательные пути от забившей их мерзости – а я выкуривал ежедневно по тридцать сигарет «Кэмел», – я мысленно подивился тому, что вообще сумел что-то произнести. Я зашелся кашлем, почему-то стесняясь производимых мною лающих звуков, и вдруг осознал – к великому моему огорчению, – что этот мерзкий тип Натан, точно злой гений, снова стоит рядом с Софи и, казалось, снова владеет и командует ситуацией. По крайней мере целую минуту, а то и дольше я корчился и сотрясался от легочных спазм, одновременно страдая оттого, что мне приходится выслушивать Натана, взявшего теперь на себя роль ученого медика:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Перевод Н. Эристави

2

Стайн, Гертруда (1874–1946) – американская писательница, яркая представительница формально-экспериментального направления в литературе. – Здесь и далее примечания переводчика.

3

Здесь: покаянная исповедь (лат.).

4

Арнолд, Мэтью (1822–1888) – английский поэт, педагог и критик, оказавший большое влияние на Т. С. Элиота.

5

«Семь типов двусмысленности» – критическая работа английского поэта и литературоведа Уильяма Эмпсона (1906–1984).

6

Йетс, Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт и драматург, представитель символизма; вдохновитель культурного движения 90-х годов прошлого века «Ирландское возрождение»; Хопкинс, Джерард Мэнли (1844–1889) – английский поэт.

7

Унсет, Сигрид (1882–1949) – норвежская писательница, автор ряда известных исторических романов; Гамсун, Кнут (1859–1952) – известный норвежский писатель; Гарленд, Ханнибал Хэмлин (1860–1940) – американский писатель; пропагандировал творчество Л. Н. Толстого; Кэсер, Уилла Сиберт (1876–1947) – известная американская писательница; Уитмен, Уолт (1819–1892) – известный американский поэт.

8

Драйден, Джон (1631–1700) – английский поэт, драматург, переводчик и критик; Спенсер, Эдмунд (ок. 1552–1599) – один из величайших английских поэтов.

9

Так называют старейшие и наиболее престижные университеты Новой Англии.

10

Донн, Джон (1572–1631) – английский поэт, автор элегий, сатир и эпиграмм. Родоначальник так называемой мета- физической школы, внесший в английскую литературу черты барокко.

11

Роман канадского писателя Малколма Лаури (1909–1957).

12

Клинекс – бумажный носовой платок.

13

Имеются в виду повесть Уильяма Фолкнера «Медведь», «Записки из подполья» Ф. Достоевского и повесть Германа Мелвилла «Билли Бадд».

14

Уайлдер, Торнтон (1897–1975) – известный американский романист и драматург; Каммингс, Эдуард Эстлин (1894–1963) – известный американский поэт; Портер, Кэтрин Энн (1890–1980) – известная американская писательница, автор романа

«Корабль дураков»; Херси, Джон (род. в 1914 г.) – известный американский журналист и романист; Коули, Малколм (род. в 1898 г.) – американский поэт, критик и переводчик; Маркуонд, Джон Филипс (1893–1960) – американский романист.

15

Стивенс, Уоллес (1879–1955) – известный американский поэт; Лоуэлл, Роберт (1917–1977) – известный американский поэт.

16

Фолкнер, Уильям (1897–1962) – крупнейший американский писатель, автор романов «Шум и ярость», «Свет в августе» и многих других. Лауреат Нобелевской премии 1949 года.

17

Маккарти, Мэри (род. в 1912 г.) – известная американская писательница и критик.

18

Чивер, Джон (1912–1982) – известный американский романист и автор коротких рассказов.

19

Имеется в виду рассказ американского писателя Ирвина Шоу (1913–1984), автора романов «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Нищий, вор» и др.

20

Маккалерс, Карсон (1917–1967) – известная американская писательница, автор романа «Сердце – одинокий охотник» и сборника «Баллада о невеселом кабачке», названного по одному из рассказов, на сюжет которого Э. Олби написал одноименную пьесу. Хаксли, Олдос (1894–1963) – известный английский романист-сатирик, автор многих романов, в том числе «Желтый Кром», «Контрапункт», антиутопии «О дивный новый мир».

21

Сартр, Жан Поль (1905–1980) – известный французский философ, романист и литературный критик, глава французского экзистенциализма; автор тетралогии «Дороги свободы» и многих пьес, в том числе «Затворники Альтоны».

22

Джойс, Джеймс (1882–1941) – известный ирландский романист, автор «Улисса».

23

«Бхагавадгита» – древнеиндийский трактат, в котором излагаются основы брахманизма и индуизма, входящий в состав «Махабхараты».

24

Вулф, Томас (1900–1938) – известный американский романист, автор романа «Взгляни на дом свой, Ангел» и др.

25

Второе «я» (лат.).

26

«Мост короля Людовика Святого» (1927) – роман известного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Торнтона Уайлдера; «Смерть приходит за архиепископом» (1927) – роман известной американской писательницы Уиллы Кэсер.

27

Ван Дорен, Марк (1894–1972) – известный американский поэт и литературный критик; лауреат Пулитцеровской премии.

28

Стихотворение У. Б. Йетса.

29

Браунинг, Роберт (1812–1889) – английский поэт, женатый на поэтессе Элизабет Браунинг (1806–1861).

30

До бесконечности, до тошноты (лат.).

31

В возрасте (лат.).

32

Бэрд, Гарри (1887–1966) – губернатор Виргинии; сенатор в конгрессе США, отличавшийся расистскими взглядами.

33

Наслаждение (фр.).

34

«Вся королевская рать» – роман известного современного американского писателя Роберта Пенна Уоррена (1905–1989).

35

Роже, Питер Марк (1779–1869) – английский ученый и врач, составитель словаря английских синонимов; «Thesaurus» – «Сокровище» (лат.).

36

Марло, Кристофер (1564–1593) – английский драматург, писавший пьесы в стихах. Особенно известна «Трагическая история доктора Фауста».

37

Халда (идиш).

38

Видите ли… (фр.)

39

Немного (фр.).

40

Грязно (фр.). Здесь: скверно.

41

Вы говорите по-немецки? (нем.)

42

Нет (нем.).

43

Костюм (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/stayron_uil-yam/vybor-sofi

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити